

INSPIRIA

ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ

ВЕСНЫ

НАНСИ

ТАКЕР

 INSPIRIA

Нэнси Такер
Первый день весны

Моей маме



Nancy Tucker
The First Day of Spring

Copyright © Nancy Tucker 2021

Design © by Grace Han

Авторы и поклонники самых разных жанров сходятся в высочайшей оценке этого смертельно прекрасного повествования. Книга о том, как из повседневности вырастает убийца. Не просто убийца, а девочка-детоубийца. Автор, дипломированный специалист по экспериментальной психологии и детский психотерапевт, подробно и страшно показывает, как возможен это не укладывающийся в голове парадокс.

«Беспокойное, засасывающее повествование, ведущееся незабываемым авторским голосом». —

Пола Хокинс, автор супербестселлера «Девушка в поезде»

«Их голоса долго будут звучать под сводами вашего черепа – глубокие и будоражащие, печальные и прекрасные». —

The New York Times

«Изумительный дебют. Захватывающий? И не сомневайтесь! Душераздирающий? Да, от начала и до конца!» —

The Washington Post

«Мрачный и головокружительный дебют, шокирующая история о равнодушии и жестокости, поведенная тонко и сочувственно. Напряженная, как самый закрученный триллер, трогательная и человечная, как самые сокровенные воспоминания». —

Лайза Джуэлл

«Пронзительная и сострадательная история опустошения души». —

Guardian

«Зловещий и острый роман о вине, ответственности и искуплении». —

Kirkus

«Тонкая, искусно сделанная вещь. Такер ведет нас по жизненному пути молодой женщины, с самого детства, полного лишений, ищущей любовь среди темных тайн, скрывающихся в закоулках нашего существования». —

Oprah Daily

© Смирнова М.В., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Крисси

Сегодня я убила маленького мальчика. Взяла обеими руками за горло, чувствуя, как кровь с силой стучит в мои большие пальцы. Он извивался и пинался; колено угодило мне в живот, вызвав резкую вспышку боли. Я заорала и сдавила его горло сильнее. От пота оно стало скользким, но я не отпускала, я давила и давила, пока мои пальцы не сделались белыми. Это было легче, чем мне казалось. Прошло немного времени, и он перестал пинаться. Когда его лицо стало цвета молочного желе, я откинулась и встряхнула руками – затекли. Положила ладони на собственное горло, над тем местом, где выпирают косточки, похожие на дверные ручки. Кровь стучала в большие пальцы. *Я здесь, я здесь, я здесь.*

После этого я зашла за Линдой, потому что до ужина было еще далеко. Мы поднялись на вершину холма и там встали вверх ногами, прислонившись к стенке и упираясь ладонями в землю, усыпанную окурками и крошечными искрами стекла. Платья сползли нам на лица. Ветер охлаждал ноги. Мимо пробежала женщина – мамочка Донны, – она пробежала мимо, и ее жирная грудь прыгала вверх-вниз. Линда оттолкнулась от стены и встала рядом со мной, и мы вместе смотрели, как мамочка Донны бежит по улице. Она издавала звуки, похожие на кошачьи вопли. Они нарушали послеобеденную тишину.

– Почему она плачет? – спросила Линда.

– Не знаю, – ответила я.

А сама знала.

Мамочка Донны скрылась за углом улицы, и мы услышали отдаленные вскрики. Когда она вернулась, вокруг нее собралась куча мамочек; все они спешили, коричневые туфли стучали по дороге, вот так – пум-пум-пум. Майкл был с ними, но не успевал. К тому времени как они прошли мимо нас, он уже тащился далеко позади и дышал с надрывным хрипом, и мамочка потянула его за

руку, а он упал. Мы увидели красные, как раздавленная малина, капли крови, услышали, как вой прорезает воздух. Мамочка схватила его и взяла под мышку. А потом продолжила бежать, бежать, бежать...

Когда все мамочки промчались мимо нас, так что мы видели только обтянутые кофтами спины и широкие подпрыгивающие попы, я потянула Линду за руку, и мы последовали за ними. В конце дороги увидели Ричарда, который вышел из магазина с ириской в одной руке и Полой в другой. Он увидел, как мы бежим за мамочками, и последовал за нами. Поле не понравилось, что Ричард тащит ее, и она стала упираться, поэтому Линда подняла ее и взяла поперек туловища. Ноги у Пола были словно в полосочку там, где жир напознал складками. Они торчали из раздувшегося подгузника, с каждым шагом сползающего все ниже и ниже.

Мы слышали толпу еще до того, как увидели ее: колышущееся облако вздохов и ругательств, пронизанное женским плачем. Девичьим плачем. Детским плачем. Обогнули угол и увидели ее – толпу людей, клубящуюся вокруг синего дома. Линды больше не было рядом со мной, потому что подгузник Пола свалился в конце Копли-стрит, и Линда остановилась, чтобы попытаться снова натянуть его на Полу. Я не стала ждать; я побежала вперед, прочь от кучи квохчущих мамочек, в самую толпу. Когда добралась до середины, пришлось присесть и протискиваться между горячими телами, а когда тела закончились и протискиваться больше стало не нужно, я увидела. Большой и высокий мужчина стоял в дверях, держа на руках маленького мертвого мальчика.

В задней части толпы раздался звук, и я посмотрела на землю в поисках лисы, потому что такой звук издает лиса, когда в ее лапе застревает колючка, – звук, идущий через рот из самого нутра. Потом толпа зашевелилась и стала расступаться, люди падали друг на друга. Меня стали толкать, и я, сидя на корточках, смотрела сквозь лес ног, как мамочка Стивена идет к мужчине, стоящему в

дверях. Из ее нутра через рот вырывался вой. Она взяла у мужчины Стивена, и вой превратился в слова:

– Мой мальчик, мой мальчик, мой мальчик...

Потом мамочка села на землю, не заботясь о том, что юбка задралась до самой талии и все видят ее трусы. Она прижимала Стивена к себе, и я думала, как хорошо, что он уже мертв, потому что если б он не был мертв, она задушила бы его между бочонками груди и живота. Под ними я не видела его лицо. Но это было неважно. Я уже знала, как оно выглядит: серое, как пропавшая печенка, глаза – словно стеклянные шарики с черными пятнами. Он перестал моргать. Я заметила это, когда закончила убивать. Было странно видеть, как кто-то не моргает так долго. Когда я пыталась сделать так, глаза начинало жечь. Мамочка гладила его по волосам и выла, и мамочка Донны протиснулась сквозь толпу и опустилась на колени рядом с ней, а мамочка Ричарда, мамочка Майкла и все остальные мамочки клубились вокруг и плакали. Я не знала, почему они плачут, – ведь их-то дети не умерли.

Линде и Поле понадобилось много времени, чтобы догнать нас. Когда они появились в переулке с синим домом, Линда несла мокрый подгузник Пола.

– Ты знаешь, как надеть обратно на нее? – спросила Линда, протягивая его мне. Я ничего не ответила, только отодвинулась, чтобы и дальше смотреть на кучу воющих мамочек. – Что случилось?

– Там Стивен, – сказала я.

– Он был в синем доме?

– Он умер в синем доме. Теперь он у своей мамочки, но все равно мертвый.

– Как он умер?

– Не знаю.

А сама знала.

Пола села на землю рядом со мной, прямо в грязь голой попой. Она шарила пухлыми руками, пока не нашла камешек, который начала старательно засовывать в рот. Линда села по другую сторону

от меня и смотрела на мамочек. Пола съела еще три камешка. Люди бормотали, шептали и плакали, а мамочку Стивена не было видно из-за завесы груди и розовых кофт. Там была Сьюзен. Сестра Стивена. Стояла в стороне от мамочек, в стороне от толпы. Никто словно не видел ее, кроме меня. Она словно была призраком.

Когда солнце начало садиться, подошла мамочка Полы, подняла ее, вытащила камешек у нее изо рта и забрала ее домой. Линде тоже надо было идти, потому что она сказала, что мамочка, наверное, ждет ее к ужину. Она спросила, пойду ли я с ней, но я сказала «нет». Я оставалась там, пока не приехала машина, из которой вышли двое полицейских, высоких и красивых, с блестящими пуговицами на одежде. Один из них наклонился и стал разговаривать с мамочкой Стивена, но слов я не могла разобрать, даже когда зажмурилась и стиснула зубы – обычно это помогало мне услышать то, что взрослые хотели сохранить в секрете. Вторым вошел в синий дом. Я видела, как он бродит по комнатам первого этажа, и хотела крикнуть: «Я убила его наверху! Нужно искать наверху!» Но закусил губы. Нельзя раскрывать свою игру.

Хотела остаться и посмотреть, что будет дальше, хотя бы увидеть, как полицейские найдут правильное место, но мистер Хиггс из тридцать пятого дома велел мне уходить. Когда я поднялась, на мне остался узор от вмятин и ямок на земле. Стоя, я лучше видела Стивена. Его ноги свисали через руку его мамочки, и я видела, что с одной ноги свалилась сандалия, а колени грязные. Сьюзен была единственной из детей, кто еще оставался там, потому что ее дома больше никто не ждал. Руки скрещены на груди, а пальцами она вцепилась в свои плечи, будто обнимала себя или пыталась не рассыпаться. Выглядела она тощей и бледной. Когда откинула волосы с лица, то заметила меня, и я хотела помахать ей рукой, но мистер Хиггс взял меня за локоть.

– Идем, девочка, – сказал он. – Тебе пора домой.

Я вывернулась. Думала, он просто прогонит подальше, но мистер Хиггс довел меня до самой улицы, держась все это время позади.

Я слышала его дыхание, тяжелое и хриплое. Как будто слизняки ползали по моей коже, оставляя скользкие следы.

– Посмотри на небо, – сказал он, указывая куда-то вверх. Я посмотрела. Оно было сплошь голубое.

– Ага, – сказала я.

– Первый день весны.

– Ага.

– Первый день весны, а малыш лежит мертвый, – сказал он и цокнул языком, словно отлепляя его от неба.

– Ага, – согласилась я, – мертвый.

– Ты ведь не боишься, девочка? – спросил он. Я влезла на ограду сада мистера Уоррена. – Ты же знаешь, полиция все расследует. Нечего бояться.

– Нечего бояться, – сказала я.

Дойдя до конца стены, я спрыгнула вниз и пробежала всю дорогу до дома. Выбрала короткий путь, тот, где нужно было протискиваться через пролом в ограде автопарка. Я не могла идти этим коротким путем, когда была с Линдой, потому что она не пролезала в пролом, но для меня это просто. Люди всегда говорили, что я слишком маленькая для восьми лет.

Света в доме не было. Я захлопнула за собой входную дверь, но ничего не произошло. Лектричества не было. Терпеть не могу, когда лектричества нет. Это значит, что телик не работает, а в доме темно-темно-темно, и никак не сделать светло, а я боюсь того, чего не могу увидеть. Некоторое время я стояла в коридоре, слушая, нет ли мамы. Я не думала, что папа дома, но все равно слушала, нет ли и его тоже, напрягала уши, как будто могла волшебным образом усилить звуки, если достаточно внимательно буду слушать. Все было тихо. Мамина сумка стояла на полу у лестницы, и я нашла в ней упаковку печенья. Мое любимое – песочного цвета, с изюмом, похожим на мертвых мух, – и я ела его, лежа у себя на кровати и не забывая жевать одной стороной рта, чтобы не тревожить гнилой зуб на другой. Когда печенье кончилось, подняла руки над лицом и растопырила пальцы,

как морская звезда лучи. Подождала, пока кровь отхлынет от них, а потом опустила и провела ими по лицу. Они так онемели, что словно принадлежали кому-то другому, и это было странно – ощущение, что кто-то другой гладит меня по лицу. Когда они отошли, я приложила ладони к щекам и смотрела в щель между пальцами, как при игре в прятки.

«Спорим – ты меня не увидишь, спорим – не найдешь, спорим – не поймаешь».

* * *

Я проснулась ночью; все остальные спали. Смирно лежала на спине. Думала, что мама, наверное, хлопнула входной дверью, потому что обычно именно это будило меня по ночам; а иногда я просыпалась от того, что описала кровать, но постель была сухой, и я не слышала, чтобы кто-то был внизу. Ноги не болели. Я потрогала живот, грудь, горло. И на горле остановилась. Воспоминание походило на кусок масла, упавший на горячую сковороду. Так же пенилось и шкворчало.

«Сегодня я убила маленького мальчика. Отвела в переулок и сжимала руками горло в синем доме. Я продолжала давить, даже когда его кожа стала скользкой от пота – и моя тоже. Он умер рядом со мной, и сто миллионов людей потом смотрели, как высокий сильный мужчина несет его к мамочке».

У меня возникло то же самое ощущение пузырьков в животе, которое я испытывала, когда вспоминала какой-нибудь вкусный секрет, – как будто лимонад бурлил внутри. Под этим скрывалось что-то еще, более твердое и похожее на металл. Но я не обращала на это внимания. Сосредоточилась на пузырьках. На том, как они булькают и шипят.

Как только я вспомнила про убийство Стивена, это взбодрило меня настолько, что я уже не смогла снова уснуть, поэтому я вылезла

из постели и на цыпочках прокралась на площадку. Перед маминной комнатой остановилась и задержала дыхание, но ее дверь была закрыта, и я не слышала ничего. Пол под пятками был холодным, и я чувствовала себя пустой и бледной. Печенье было словно давным-давно. На кухне у нас никогда нет никакой еды, хотя весь смысл кухни, чтобы там всегда была какая-нибудь еда. Но я все равно искала. Влезла на столешницу, открыла все висячие шкафы и в том, что над плитой, нашла бумажный пакет с сахаром. Сунула его под мышку.

Когда я поворачивала ручку входной двери, мне пришлось быть очень осторожной, потому что она издавала громкий щелчок, если повернуть ее слишком быстро, а я не хотела разбудить маму, если та действительно спала в своей комнате. Сдвинула придверный коврик на порог и плотно прижала его дверью, чтобы та не открывалась, но и не захлопнулась на замок. Так делала мама, чтобы я не стучалась, когда возвращаюсь из школы. От воздуха снаружи моя кожа покрылась мурашками – там, где под ночнушкой я была голая, ветер задувал снизу. Я долго стояла у ворот, глядя на пустую улицу и чувствуя себя так, как будто я – единственный человек в мире.

За несколько часов до этого, возле синего дома, я слышала, как одна из мамочек сказала, что наши улицы никогда больше не будут прежними. Она утыкалась головой в плечо другой мамочки и оставляла на ее кофте мокрые полоски от слез.

– Они никогда не будут прежними, – сказала она. – Только не после такого. Только не после того, как кто-то пришел и сделал это. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, зная, что на наших улицах творится такое зло? Как мы сможем когда-нибудь поверить в то, что наши дети в безопасности, если поблизости бродит дьявол? Дьявол среди нас.

Воспоминание об этом заставило меня улыбнуться. Улицы никогда не будут прежними. Когда-то они были безопасными, а теперь перестали такими быть, и все из-за одного человека, одного утра, одного момента. Все это – из-за меня.

Асфальт был шершавым и царапал ноги, но мне было все равно. Я решила дойти до церкви, потому что та стояла на вершине холма, и от нее можно было видеть все наши улицы – всю эту сетку. По пути не сводила глаз с церковного шпиля – он торчал прямо в небо, словно зимнее дерево. Дойдя до вершины холма, влезла на стену рядом со статуей ангела и оглянулась на лабиринт домиков, похожих отсюда на спичечные коробки. В животе сосало; я облизнула пальцы, макнула их в пакет с сахаром и слизала прилипшие крупинки. Делала это снова и снова, пока гнилой зуб не заныл, а губы изнутри не стали похожи на наждачку – из-за налипших крупинок сахара. Я чувствовала себя призраком или ангелом, стоя на стене в белой ночнушке и поедая сахар из бумажного пакета. Никто меня не видел, но я все же была здесь. Как бог, выходит.

«Значит, вот что для этого нужно, – думала я. – Только это и было нужно мне, чтобы почувствовать себя всемогущей. Одно утро, один момент, один желтоволосый мальчик. В конце концов, это не так уж много».

Ветер задирает ночнушку, и мне казалось, что он мог бы вознести меня на небеса, если б что-то тяжелое не держало меня на земле.

«Скоро я больше не буду чувствовать этого, – думала я. Именно это и приковывало меня к земле. – Скоро все станет как обычно. Я забуду, каково это – быть достаточно сильной, чтобы выдавить из кого-то жизнь. Забуду, каково чувствовать себя богом».

Следующая мысль была словно голос, раздавшийся в голове: «Мне нужно снова почувствовать это. Нужно снова сделать это».

Время, отделяющее первый раз от следующего, внезапно отобразилось на циферблате, и стрелки отсчитывали секунды. Я смотрела, как оно тикает, слышала, как оно тикает, чувствовала, как оно тикает. Эти часы были особым секретом – для меня одной. Другие люди могли сидеть вместе со мной в классе, проходить мимо меня на улице, играть со мной на площадке – и не знать, кто я на самом деле такая. Но я-то знала, потому что тиканье напоминало

мне об этом. И когда часы дотикают полный круг, когда их стрелки сойдутся на числе двенадцать, это случится. Я сделаю это снова.

Пальцы на руках и ногах сводило от холода, поэтому я направилась обратно к своему дому. Чувствовала себя даже легче, когда шла от церкви, и знала: это не только потому, что я сейчас спускаюсь, а не поднимаюсь. Это потому, что теперь у меня есть план. Входная дверь все еще была подперта ковриком, и я закрыла ее за собой с осторожным щелчком. Унесла сахар обратно на кухню и поднялась по лестнице. Кругом по-прежнему было тихо. По-прежнему темно. Забравшись в постель, я согнула колени, натянув на них подол ночнушки, и сунула ладони под мышки. Было очень холодно, но я чувствовала себя совсем настоящей. Совсем живой. В каждой крошечной части моего тела ощущалось собственное сердцебиение, собственное тиканье.

Тик. Тик. Тик.

Джулия

– Сегодня первый день весны, – сказала Молли, ведя костяшками пальцев по парапету набережной.

– Не делай так, – сказала я.

Она подняла руку и стала слизывать цементную пыль. Я потянула ее за рукав.

– Не делай так. Грязь же.

Впереди нас женщина обхватила своего малыша поперек туловища и с легким кряканьем подняла на парапет. Он пошел по верху ограждения, раскинув руки в стороны и задрал лицо вверх, чтобы уловить морскую соль в воздухе.

– Мама! – воскликнул он. – Смотри на меня!

– Прекрасно, милый, – отозвалась она, заглядывая в свою сумочку.

Мы смотрели на мальчика. Смотрели, как он дошел до конца парапета, напрягся и прыгнул прямо в объятия женщины. Она поцеловала его в щеку и поставила на землю.

– Не упал, – заметила Молли.

– Да, – согласилась я. – Не упал.

В пятницу я не заметила, как она залезла на парапет, – я наблюдала за *другой-женщиной с другим-ребенком*. Они шли, сцепившись пальцами и лениво взмахивая руками, и я гадала, каково было бы вот так сплести свои пальцы с пальцами Молли. Пальцы у нее маленькие и тонкие, словно спички, обтянутые кожей. Они, пожалуй, пролезли бы даже между моими сомкнутыми пальцами.

– Смотри! – крикнула Молли. Обернувшись, я увидела, что она балансирует наверху парапета. – Смотри! – повторила Молли. Она не имела в виду просто «смотри». А имела в виду «отреагируй уже как-нибудь».

– Слезай, – сказала я, потом подошла к парапету и вытянула вверх обе руки. – Тебе нельзя там быть. Это опасно. Я говорила.

– Но я же могу тут стоять!

– Спускайся, Молли.

Она не ответила и не спрыгнула ко мне в руки, поэтому я потянула ее за рукав. Потянула совсем не сильно. Хотела поймать ее. Она вскрикнула, заваливаясь вперед, и я ухватилась за ее пальто, но та часть пальто, за которую я держалась, выскользнула из моего кулака, и Молли упала на землю. Раздался хруст. Она посмотрела на меня снизу вверх, ее губы образовали маленькое «о», и меня словно окатило ледяной водой. Сначала это был беззвучный крик, а потом она заплакала со слабым, полным недоумения стоном. Ее рука в рукаве куртки свисала тряпкой.

Я почувствовала, что сзади меня кто-то есть, обернулась и увидела ту женщину с девочкой, державшихся за руки. Женщина не спросила, что случилось или нужна ли нам помощь. Она просто опустилась на колени рядом с Молли, положила одну руку ей на запястье, вторую на спину и спросила:

– Где больно, милая?

Когда я смогла пошевелить языком, он показался мне настолько разбухшим, что едва помещался во рту и с трудом отлипал от нёба с чмоканием – как будто кто-то шел босиком по мокрому асфальту. Во рту был привкус пыльного ковра. Я хотела схватить женщину за шиворот, поднять на ноги и потребовать ответа: где она научилась тому, что нужно делать с ребенком, упавшим с парашюта? Но я не могла говорить. Горло перекрывал задавленный крик.

– Сбегаю в один из тех домов и позвоню по телефону, – сказала женщина, указывая на коттеджи, выстроившиеся вдоль набережной. И умчалась, прежде чем я успела спросить, собирается ли она звонить в «Скорую» или в полицию.

Я опустилась на колени рядом с Молли, положила одну руку ей на спину, а вторую – чуть выше локтя. Ее запястье было белым и безжизненным, и я поняла, что лучше бы я видела кровь. Кровь

честная – маслянистая жидкость на коже, запах металла и бойни. Рука Молли была живой снаружи, но мертвой внутри, и я расправила ее рукав, пытаясь притвориться, будто под ним течет кровь. Когда та женщина стояла на коленях, она что-то бормотала. Но я не слышала слов, поэтому не могла их повторить и не знала теперь, что сказать. Я слушала крики чаек над головой и пыталась не слышать, как Молли плачет рядом со мной.

Наконец женщина примчалась обратно, неся пакет замороженных бобов, завернутый в кухонное полотенце. Я видела, что этот несчастный случай для нее почему-то важен.

– Готово, – сказала она, бросив на меня взгляд, в котором читалось: «Я вернулась. Можешь уступить место». И я уступила. – В том доме, ближнем отсюда, живет милая женщина, – сказала она. – «Скорая» уже едет. Сказали, что мы можем сами отвезти девочку в больницу, но у меня нет машины. Положи свою бедную ручку вот сюда, милая. – Она держала пакет с бобами, точно подушку, и возложила на него запястье Молли. Я не стала спрашивать, почему она решила, что у меня тоже нет машины, потому что грубить людям из-за того, что они что-то предполагают, имеет смысл только тогда, когда их предположения ошибочны.

Когда в конце набережной завывала сирена «Скорой», женщина заправила волосы Молли за ухо и сказала:

– Они уже едут, милая, они тебе помогут.

Я смотрела, как белый фургон останавливается, как из него выскакивают два ухмыляющихся санитаров и идут к нам без особой спешки. Крепко сложены и явно замотаны работой. Когда они установили, что та женщина – не мать Молли, а мать Молли – это я, и я действительно мать Молли, несмотря на то что стояла как пугало, в то время как другая женщина утешала ее, – они забрали нас в машину. Та женщина помахала рукой, пока я поднималась по металлической лестнице.

– Всего хорошего! – крикнула она мне вслед.

Я не ответила, потому что не могла высказать вслух единственное, о чем я думала: «Как много ты видела?» Санитар усадил меня рядом с Молли и сказал:

– Ну вот, теперь мама может держать тебя за здоровую руку, пока мы едем в больницу, чтобы осмотреть больную. Все будет хорошо.

Чтобы доехать до больницы, нам понадобилось пятнадцать минут. А мне понадобилось четырнадцать минут, чтобы решиться дотронуться до руки Молли и легонько погладить ее – два раза. Она перестала плакать. Сопли, смешанные с песком, засыхали на верхней губе.

Больница была похожа на муравейник: палаты, койки, люди в голубых пижамах. Один из них показал мне рентгеновский снимок запястья Молли, и я увидела сломанную кость, окруженную черной пустотой. Мне хотелось спросить: «Это нормально? Рентгеновский снимок другого ребенка выглядел бы так же? Ведь люди не могут быть такими – полными пустоты? Это потому, что она моя?» Я ничего не спросила. Ничего не сказала. В ушах шумело, будто волны бились о стенки черепа изнутри. Когда доктор объяснил про перелом, он надолго оставил нас в палате одних. Я кормила Молли шоколадным драже из фиолетового пакета, который держала в сумке для экстренных случаев. Она, похоже, была счастлива от того, что лежит на кровати, а я одну за другой кладу конфетки ей на язык – как будто то, что я кормлю ее, означает, что сладости никогда не кончатся, а значит, у нас не будет необходимости заполнять паузы между ними какими-то словами.

Как раз в тот момент, когда я начала думать, будто про нас забыли или решили навсегда оставить гнить в этой палате в наказание за то, что я сделала, пришел другой доктор вместе с медсестрой. Он сел напротив меня с планшетом, а медсестра начала накладывать гипс на запястье Молли.

– Итак, – сказал он, – можете сказать мне, как именно это случилось?

– Она шла по парапету, – ответила я. – Я не разрешаю ей этого делать. Она знает, что так нельзя. Просто залезла туда, пока я не смотрела. Но обычно я смотрю.

– Понятно, – сказал доктор и записал что-то на листе бумаги, но держал планшет под таким углом, что я не видела, что он пишет. – Шла по парапету. А что потом?

– Споткнулась. Я говорила ей слезть, но она взяла и споткнулась. Я пыталась поймать ее, но не смогла.

– Ясно.

– Думаю, она выставила руку, чтобы удержаться.

– Скорее всего.

– Ей нельзя залезать на парапет. Она знает, что нельзя. И никогда раньше туда не залезала. Думаю, это потому, что она недавно пошла в школу, всего несколько месяцев назад. Другие дети делают то, что ей не разрешено, и она повторяет за ними. Она никогда раньше не калечилась.

– Конечно. – Доктор кивнул, но больше ничего не писал. Он смотрел на меня странно, с прищуром. Не отводя прищуренных глаз, произнес: – Молли, это правда – то, что сказала мама? О том, как ты повредила запястье?

– А? – спросила Молли.

Сестра дала ей игрушку – часики в виде божьей коровки, у которой расправлялись и складывались крылышки, – и Молли была слишком увлечена тем, что раскрывала и закрывала их, поэтому не услышала то, что я говорила. Неожиданно я осознала, что на верхней губе у нее так и остались засохшие сопли, косички растрепались, а на вороте школьного джемпера виднеется пятно.

– Как ты повредила запястье? – спросил доктор, подкатываясь ближе к ней в своем кресле на колесиках.

– Я вам только что сказала, – напомнила я.

В горле у меня булькало что-то холодное. Доктор повернулся ко мне так, словно у него затекла шея, и был очень зол на меня за то, что я заставила его обернуться.

– Знаю, – сказал он. – Просто я хотел бы услышать это еще и от Молли. На всякий случай.

– Я шла по стенке, – ответила та. – А потом упала.

– А почему ты упала? – спросил он.

– Просто упала. Просто споткнулась.

Он записал это на листке. И был разочарован – я это видела. И не знала, испытывать мне облегчение от того, что Молли солгала, или ужас от того, что она знала – нужно лгать. Я смотрела на свои руки, сжатые на коленях, и вообразила, будто одна из них – рука Молли.

Мы оставались в палате, пока гипс не затвердел, потом руку подвесили на грудь при помощи перевязи. Медсестра прочитала мне лекцию о том, что нужно сохранять гипс сухим, не двигаться активно и обратиться к врачу, если пальцы начнут отекать. Я кивала, застегивая на Молли пальто и притворяясь, будто не замечаю спрятанную под этим пальто руку.

К тому времени, как нас отпустили, было почти восемь часов вечера. На улице было темно. Я не смотрела на часы с того момента, как забрала Молли из школы, и это, вероятно, самый долгий период, когда я не смотрела на часы с того времени, как она родилась. Мы не вернулись домой в три сорок пять, мы не перекусили в четыре часа, не читали книгу в четыре тридцать, не смотрели детскую передачу «Сигнальный флаг» в пять и не пили вечерний чай в пять тридцать. Хрупкое расписание сломалось, как кость в запястье Молли. Вот что случилось, когда я потеряла концентрацию.

* * *

– Знаешь, откуда я знаю, что сегодня первый день весны? – спросила Молли. – Потому что нам сказала мисс Кинг. Поэтому мы делали цветочные короны.

– А, – отозвалась я. – Ага. – За день до этого она вышла из школы в убогом венце из картонки и ватных шариков, который по пути

соскользнул вниз и болтался вокруг шеи, словно уродливый и бесполезный шарф. Я не рискнула спросить, что это. Ведь раньше Молли долго не могла простить меня за то, что я сочла рождественскую елочку из папье-маше вулканом. – Это была очень красивая цветочная корона.

– Мисс Кинг сказала – лучшая в классе. Она такая добрая, да?

– Просто ангел.

Трудно вообразить цветочную корону хуже, чем та, что теперь лежала на полке в комнате Молли. Я решила, что остальные дети, наверное, просто наклеили полоски бумаги себе на лоб.

– Если сегодня первый день весны, это значит, что теперь будет теплее? – спросила она.

– Не знаю, – сказала я.

Ветер с моря был таким резким, что я даже представить не могла, что когда-нибудь он снова станет теплым. Молли пошаркала подошвами по земле и вздохнула.

– Я спрошу у мисс Кинг. Она знает. Она все знает. Такая умная, правда?

– Просто гений.

Я прижала пальцы к векам. Веки были похожи на цветочные лепестки: мягкие, бархатистые, слегка набухшие. Боль усиливалась, пока мы смотрели, как *другие-дети* идут вдоль парапета, окатывала мое лицо, словно горячее машинное масло, и никуда не девалась. Она была похожа на высокий гул, на писк. Я массировала верхнюю часть скул, пока из ощущений не осталось только давление плоти.

– Мы пойдем на аркаду^[1] после школы? – спросила Молли. Она смотрела мимо меня, мимо ряда фургонов с бургерами и закрытого парка аттракционов. Навстречу нам просачивался шум игровых автоматов – звон монет, утекающих прочь.

– «Мы пойдем в аркаду?» – поправила я.

– Я так и спросила. Пойдем? У меня есть деньги. – Молли достала из кармана четыре монетки по пенни и пластиковый жетон и потрясла ими в ладони.

– Нет. побыстрее. Опоздаем.

Вряд ли. Мы никогда не опаздывали. Каждое утро выходим в восемь часов и подходим к школе в восемь пятнадцать, когда большинство детей еще доедают завтрак. Если выйти позже, есть риск по пути увидеть *других-матерей с другими-детьми* – бляющих, чирикающих и позволяющих своим *другим-детям* ходить по парапету. Я не могла защитить нас от всего, но хоть от этого...

К восьми тридцати мы были у школьных ворот и топтались под табличкой «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». Пока ждали, неприветливая секретарша подошла к боковой калитке, отперла ее и проскользнула за ограду.

– Сегодня утром мы пришли очень рано, – произнесла я достаточно громко, чтобы она услышала. – Намного раньше, чем обычно, – почти прокричала я.

Молли посмотрела на меня с чем-то похожим на жалость, потом прижалась к ограде, отпечатывая на своем лбу узор решетки.

– Сейчас завтрак, – сказала она и указала на столовую, откуда доносился лязг ложек и детские голоса.

– Ты завтракала, – напомнила я. Секретарша скрылась в здании, но я продолжала говорить громко: – Завтракала перед выходом.

– Я могу опять.

– Проголодалась? Тебе нужно съесть что-то еще?

– По правде – нет.

Пока сторож, ковыляя, шел отпирать ворота, к нам присоединилась армия *других-матерей и других-детей*, и это лишний раз напомнило мне, почему я избегаю *других-матерей*. Они толпились группами, болтая на невероятной скорости, раздражались смехом, от которого у меня звенело в ушах. Когда они окружали меня, у меня всегда возникало одно и то же ощущение: будто я маскируюсь под представительницу другого вида. То, как они кружились и ворковали, напоминало поведение голубей, и поэтому они стали для меня стаей птиц – а я была среди них человеком, оклеившим одежду перьями. Они смотрели на меня и отводили

взгляд, стыдясь моей резкой, выпирающей непохожести. Когда пришла Эбигейл и Молли побежала ей навстречу, я почувствовала себя голой без своего маленького щита. У Эбигейл были волосы кирпичного цвета и маленькие золотые сережки-гвоздики в ушах. Я смотрела, как две девочки смеются и обнимаются, что-то рассказывая друг другу. На меня их объятия навевали тоску, но я не знала, о чем тоскую: то ли о том, чтобы Молли была только моя, то ли о том, что у меня нет подруги, с которой можно обняться.

К девяти часам на игровой площадке бурлило море полиэстеровой одежды и гольфов по колено. Вокруг нас *другие-матери* начали осыпать *других-детей* поцелуями и звонкими восклицаниями:

- Хорошего дня, солнышко!
- До встречи вечером, милая!
- Очень люблю тебя, мой ангел!

Когда прозвенел звонок, *другие-дети* стали строиться неровными шеренгами, а *другие-матери* потопали домой, чтобы заняться стиркой. Я подождала, пока мисс Кинг увидит меня, потом подозвала к себе Молли. Вручила ей портфель, сумку со спортивной формой и пластиковый контейнер с очищенным и порезанным яблоком, и она устремилась к мисс Кинг, как железо устремляется к магниту. Не обернувшись, чтобы улыбнуться или помахать рукой. По ту сторону игровой площадки *другой-ребенок* уцепился за *другую-мать*, обхватив за талию и не желая отпускать. Я понимала его: именно так я хотела поступить с Молли каждое утро, прежде чем она убежит к мисс Кинг. Хотела уцепиться за нее, а когда учительница подойдет, чтобы разделить нас, хотела сказать: «Мы состоим друг из друга. Мы – части одного целого. Вы знаете, что она выросла у меня внутри, словно один из органов?» Мне казалось исключительно жестоким, что нет биологической системы, позволяющей навсегда удержать Молли при себе. Почему я не могу носить ее в кармане на животе, как кенгуру носит детеныша?

* * *

Телефон в квартире начал звонить, когда я стояла перед дверью, нащупывая ключи. Позади проходили люди и проносились автобусы, набитые горячим дыханием и скучающими лицами. Никто, похоже, не обращал внимания на этот звук, но он вызывал у меня желание осесть прямо на землю. Я хотела скорчиться, упасть на колени и уткнуться лбом в асфальт. Сухая боль кипела в пустоте позади глаз, а тротуар выглядел прохладным.

До утра субботы я даже не знала, как звучит звонок домашнего телефона. Пронзительный визг прорезал воздух, и я посмотрела на смеситель, на плиту, на радиаторы отопления. Понюхала, не пахнет ли дымом. Молли встала с дивана, не сводя глаз с телевизора, и протянула руку к телефону, висящему на стене. Я связала этот жест и душераздирающий звук – медленно, с трудом, – и осознание пронзило меня, как штопор пронзает мягкую плоть пробки.

– Нет, – сказала я, пересекая комнату. – Не надо.

Отвела ее руку. Мы смотрели друг на друга, пока звон не прекратился.

– Почему ты не ответила? – спросила Молли, поглаживая гипс.

– Потому что не хотела.

– Почему?

– Досматривай передачу. Уже десять. Скоро пойдем в парк.

Когда она не видела, я сняла трубку с рычага и оставила висеть на проводе. В воскресенье телефон зазвонил вечером, когда Молли уже была в постели. Я вышла из ее комнаты и остановилась рядом с ним.

«Не собираюсь отвечать, так что можешь просто сдать, – думала я. – Можешь звонить и звонить, никогда не отвечу».

Посмотрела на себя в зеркало возле вешалки. Глаза обведены кругами цвета свежего синяка, белки пронизаны сетью алых жилок. Я вонзила ногти в руку и почувствовала, как липкие полумесяцы набухают там, где я промяла кожу. Когда звонки прекратились,

тишина, словно прохладная вода, сомкнулась над моей головой. Я заставила себя считать вдохи и выдохи, как меня научили делать, когда я была на грани ярости, но прежде чем досчитала до девяти, звук раздался снова. Он казался еще более громким, еще более настойчивым. Я нажала пальцами на живот и ощутила какой-то твердый орган. Держа одну руку вот так – на печени, селезенке или на чем-то еще, живущем во внутреннем темном болоте, – другой сняла трубку. В ней раздался голос, напряженный, как будто кто-то откручивал тугую крышку с банки.

– Алло? – произнес этот голос, сопровождаемый тяжелым дыханием. Мне представлялось, что я чувствую запах этого дыхания через дырочки в трубке: горчичного цвета запах нечищенных зубов. – Крисси?

Я нажала ногтем на рычаг, чтобы прервать звонок. Длинный гудок в трубке походил на монотонный крик.

«Ага, – подумала я. – Значит, вот как».

Крисси

В понедельник в школе нас усадили рядами в зале, как во время пятничного собрания, только была не пятница, а понедельник. В зале пахло котлетами и заточенными карандашами, а солнце освещало пыль, танцующую в воздухе, превращая ее в сверкающие столбы. Мой класс вошел в зал, когда шестой уже расселся, и я окинула взглядом ряды, ища Сьюзен. Сьюзен всегда можно заметить, потому что у нее длинные волосы – длиннее, чем у любой другой девочки в школе. До самого зада. Летом после ванны она садилась на подушку в саду перед своим домом, а ее мамочка сидела на табуретке позади нее и болтала с мамочкой Карен в соседнем саду, причесывая волосы Сьюзен, а Стивен ковылял туда-сюда по дорожке, и всякий раз, когда он подходил к своей мамочке, она целовала его. Иногда я смотрела на это, навалившись на стену. К тому времени как волосы Сьюзен были тщательно расчесаны, солнце высушивало их, превращая в желто-белое полотно, и мамочка Сьюзен запускала в них пальцы, как будто в теплый песок. Потом она прятала расческу в карман и гладила Сьюзен по макушке. Сьюзен нечасто присоединялась к нашим играм, даже если мы играли во что-то веселое, скажем, в «Сардины»^[2], или забирались в дом миссис Роули через сломанную заднюю дверь и трогали ее вещи. В основном Сьюзен сидела на площадке вместе с другими девочками из шестого класса, позволяя им поочередно гладить ее волосы.

Я помню только один раз, когда Сьюзен заговорила со мной: я тогда была во втором классе, а она – в четвертом. Я находилась на игровой площадке одна и пыталась обойти ее вокруг, переступая ногами по выступающей нижней перекладине ограды, а Сьюзен шла по улице с женщиной, которая не была ее мамочкой.

– Крисси! – крикнула она, увидев меня. Я почувствовала себя особенной, потому что дети из четвертого класса обычно не заговаривали с детьми из второго. Подойдя к ограде, Сьюзен уцепилась за нее и стала подпрыгивать на носочках.

– Знаешь что? – спросила она. Женщина-не-мамочка остановилась позади нее.

– У Сьюзи есть замечательная новость. Давай, уточка моя, расскажи своей подружке.

– У меня теперь есть маленький братик, – сообщила Сьюзен.

Когда она говорила это, то подняла плечи так, что они едва ли не касались ее ушей; глаза сверкали. Вообще-то эта новость вовсе не показалась мне особо замечательной. У всех все время оказывались маленькие братья и сестры. Я разозлилась на Сьюзен, потому что она заставила меня думать, будто случилось что-то действительно интересное – например, умер викарий или что-нибудь вроде того.

– Он очень милый малыш, верно, уточка? – сказала женщина-не-мамочка.

– Она же девочка, – поправила я. – Не уточка.

– Его называли Стивен, – сказала Сьюзен. – Мама и папа придумали два имени – Стюарт и Стивен – и позволили мне выбирать из них. Я выбрала Стивена.

– Кто эта женщина? – спросила я.

Женщина-не-мамочка засмеялась.

– Я Джоан, тетушка Сьюзен, – ответила она. – Приехала помочь ее маме и папе, пока они осваиваются с малышом. А как тебя зовут, птичка?

– Крисси.

– Милое имя. Что ж, нам пора в магазин.

– Пока, Крисси! – крикнула Сьюзен, когда они пошли прочь. – Нам надо купить всякое для мамы, папы и Стивена.

– Рада познакомиться с тобой, уточка! – сказала тетушка Джоан.

– Я девочка! – возразила я, но она меня, кажется, не услышала.

Я смотрела им вслед до тех пор, пока не перестала что-либо различать – только длинные белые косы Сьюзен, свисавшие вдоль спины, как два куска каната. Когда они скрылись, я долго думала о том, насколько по-другому все было бы, если б у меня были такие волосы, как у Сьюзен, – я могла бы стать очень богатой, потому что заставляла бы людей платить деньги за разрешение потрогать их, и все любили бы меня. Может, даже мама.

Я познакомилась со Стивеном две недели спустя, в пятницу. Когда вышла из класса, на площадке стояла толпа мамочек, все они всплескивали руками и чирикали. Мягкие животы, мягкие кофты. Я подбежала, чтобы посмотреть, из-за чего они подняли такой шум.

– Какой красивый!

– Я теперь тоже хочу еще одного...

– Ты так хорошо выглядишь!

– Как он ест?

Пробравшись в середину толпы, я увидела, что мамочка Стивена держится за ручки коляски. Лицо ее выглядело круглее и ярче, чем обычно, словно она проглотила кусочек солнца, и улыбалась она так широко, что казалось, будто губы сейчас треснут. Ребенок выглядывал из белого одеяльца, лицо у него было сморщенное и противное. Жуткое разочарование. Я-то надеялась, что там будет что-то действительно интересное, не хуже барсука, например...

Сьюзен протолкалась сквозь толпу и остановилась по другую сторону коляски, сунула руку внутрь и погладила младенца по щеке указательным пальцем.

– Привет, братик, – сказала она. – Привет, малыш Стивен. Я скучала по тебе. Очень.

Я хотела узнать, какова его кожа на ощупь, поэтому тоже протянула руку и стала гладить его по другой щеке. Она ощущалась просто как кожа, честное слово, – как моя кожа, как кожа Сьюзен или любого другого человека. Еще одно разочарование. Я действительно не понимала, почему все поднимают из-за него такой шум. Сьюзен и ее мамочка буквально обливали его любовью,

изрыгая жирные комки этой самой любви. Так много шума поднялось из-за такого крошечного существа, совсем непохожего на барсука или какого-нибудь еще интересного зверя...

Он извивался и тер лицо кулаками. Я провела ладонью по его голове и нащупала странное место, мягкое, как губка. Хотела проверить, как сильно я могу продавить это место, но мамочка Стивена оттащила меня назад.

– Осторожней, Крисси, – сказала она. – Он очень нежный. Ты же не хочешь повредить ему?

* * *

В этот понедельник Сьюзен не было в рядах шестого класса, и это значило, что ее вообще нет в школе. Когда все классы расселись рядами, мистер Майклс сказал нам, что мы, должно быть, слышали о печальном происшествии в выходные – когда маленький мальчик, живший на одной из наших улиц, был найден мертвым, убитым насмерть. Я сидела рядом с Донной, которая мне не нравилась, потому что она была такой хорошей-хорошей и вдобавок толстой. Я считала ямочки на ее пухлых коленках, пока мистер Майклс говорил, и хотела ткнуть пальцем в одну из них, просто чтобы проверить, какой она будет на ощупь, но когда попробовала, Донна оттолкнула мою руку.

– Отстань, – прошептала она.

Я сложила ладони вокруг рта и приставила их к ее уху.

– Я была там, – шепнула туда. – Когда его нашли. Я была там.

Она резко повернула голову, чтобы посмотреть на меня. Наши губы были так близко, что я могла бы поцеловать ее, вот только я, конечно же, не стала бы этого делать, потому что она была жирной пай-девочкой. Ее дыхание пахло вареньем.

– Как он выглядел? – шепотом спросила Донна.

– Там везде было много-много крови. Она брызгала во все стороны, и немного даже попало на меня. – Я показала ей красновато-бурое пятнышко на подоле своего платья. – Видишь? Это его кровь.

Она потрогала пальцем пятно от кетчупа и произнесла:

– Ого!

Но потом мисс Уайт похлопала нас по плечам и велела слушать мистера Майклса. По пути обратно в класс Донна ушла вперед и заговорила с Бетти, и та спросила:

– Правда? – и обернулась, чтобы взглянуть на меня. От этого в животе возникло жаркое гудящее чувство.

На этой неделе все было как-то странно. Сьюзен не пришла в школу ни во вторник, ни в среду, ни в другие дни. Когда настала пора идти домой, мамочки ждали на игровой площадке, и когда их дети выходили из школы, они сгребали их в охапку и прижимали к мягкой груди. Нам не разрешено было играть, как мы играли обычно. После обеда я бродила по улицам с длинной палкой, водя ею по кирпичным стенам и воротам и извлекая звуки – «шурх-шурх-тр-р-р». Иногда останавливалась и смотрела сквозь чье-нибудь окно чужие телики. Когда стучалась в двери, мамочки говорили, что их дети не выйдут и что мне тоже нельзя выходить.

– Но я уже вышла, – отвечала я.

Они вздыхали и прогоняли меня. Почти каждый день я в конце концов усаживалась, прислонившись спиной к ограде дома миссис Уитворт, и смотрела, как мамочки заходят в дом Стивена, неся кексы и кастрюли с едой, а потом выходят с пустыми руками. Думала о том, что если твой ребенок умирает, это не так уж плохо. Ведь тебе приносят кучу кексов и всякого варева.

Когда я смотрела на верхнее окно дома, видела Сьюзен. Она постоянно стояла там, прижимая ладони к стеклу. Не так, как если бы ей хотелось выйти из дома, а так, словно хотелось потрогать что-нибудь холодное. Я никак не могла хорошенько рассмотреть ее лицо, но видела белые волосы, свисающие до самых бедер.

Я догадалась, что Стивен не ожил, потому что смотрела и смотрела на их дом, но так и не увидела его.

В четверг в школе мы начали делать пасхальные шляпки и пасхальные корзинки и разучивать пасхальные песни, потому что была почти Пасха. Еще мы должны были принести в школу коробку из-под хлопьев, но у меня ее не было.

– Где твоя коробка, Крисси? – спросила мисс Уайт.

– У меня ее нет.

– У тебя ее нет?

– Да, у меня ее нет.

Она скрестила руки на груди и спросила:

– Почему нет-то? Я напоминала вам всем перед тем, как вы вчера разошлись по домам.

– У нас дома не едят хлопья.

– Не говори глупостей, Крисси. Все едят хлопья.

– Я не ем.

Мисс Уайт дала мне кусок гофрированного картона, который не годился для пасхальной шляпки, и она должна была это знать, но явно не знала, потому что только я одна во всей школе знаю хоть что-то. Мои ножницы не могли прорезать этот картон, только мяли его, словно младенец, пытающийся жевать тост. Я сдалась и вместо этого отрезала кончик косы Донны. Она начала кричать. Мисс Уайт отправила меня к мистеру Майклсу, но мне было плевать. Волосы издавали такой приятный хруст, когда я резала их ножницами, и я снова и снова проигрывала этот звук у себя в голове, пока ждала выговора.

После школы я пошла к Линде. Кузина дала ей новый журнал «Мирабель», и мы вместе валялись на кровати и читали его. На большинстве страниц были написаны странные вещи, например: «Как пережить любовь и продолжить улыбаться». «Мирабель» явно был не особо хорошим журналом, потому что кузина Линды читает его уже сто лет, и я никогда не видела, чтобы она улыбалась.

Когда мне стало так скучно, что показалось, будто мозг сейчас вытечет через нос, как сопля, я слезла с кровати и вытащила платье, которое до этого заправила в трусы.

– Линда, – сказала я. – Хватит.

– Что хватит?

– Просто хватит. Хватит – значит хватит.

– Это ничего не значит.

– Нет, значит. Значит, что надо пойти поиграть.

Линда перекатилась на спину и задрала ноги вверх, словно муха.

– Нет, нам нельзя идти играть. Это опасно. Мы умрем, как Стивен.

– Нет, не умрем.

– Можем умереть.

– Ну а если не пойдём играть, умрем от скуки. А я лучше умру от игры, чем от скуки. Поэтому я пойду. А ты делай что хочешь.

– Ш-ш-ш. Мама услышит.

Когда я бывала у Линды дома, мне приходилось тратить кучу времени на то, чтобы убедиться, что ее мамочка не слышит меня. Мамочка Линды не была особо ласковой. Она была из тех мамочек, от которых пахнет церковью и глажкой и которые месяцами могут не говорить ничего, кроме «осторожнее», «перестань» или «пора пить чай». Если споткнуться и упасть прямо перед Линдиной мамочкой, она поднимала тебя на ноги и отряхивала колени, словно счищая с них грязь, и при этом бормотала: «Ничего страшного, ничего страшного». Если падала не я. Меня она не поднимала и не отряхивала. Я знала, почему она не любит меня: потому что когда мне было семь лет, я сказала ей, что у нее больше седины, чем у других мамочек (что правда), и это, наверное, означает, что она старше других мамочек (что тоже правда). Поэтому, когда Линдина мамочка отворяла двери и видела меня на крыльце, она крепко свивала руки на груди, словно пытаюсь остановить меня и не дать войти.

Я спустилась вниз по лестнице и вышла за дверь, ступая так легко, что совершенно не производила шума. Мне не нужно было

оглядываться, чтобы посмотреть, следует ли за мной Линда. Она всегда следовала за мной. В этом весь смысл Линды. Я сказала, что нужно позвать Донну, хоть и не любила ее, – ведь она единственная из всех, кого могли выпустить из дома. У Донны так много братьев, что ее мамочка даже не заметила бы, если б один ребенок пропал. Я не любила Донну по многим причинам – помимо, конечно, тех, что она толстуха и такая послушенькая, – но главная причина заключалась в том, что во время рождественских каникул она укусила меня за руку только за то, что я сказала, будто ее лицо похоже на картофелину (и это тоже правда). У меня целую неделю не сходили фиолетовые отметины от зубов. Итак, она толстая, послушенькая, а ее лицо похоже на картофелину, но нам не приходилось выбирать, кого выпустят поиграть на улицу.

Когда мы позвонили в дверь дома Донны, ее мамочка хотела нас прогнать, но кто-то еще из детей наблевал на пол в кухне, и она передумала. Сказала, что Донна выйдет, но только если Уильям тоже пойдет, потому что ему двенадцать лет, он большой и сильный мальчик и сможет присмотреть за Донной в случае чего. На самом деле Уильям был тощим и слабым парнишкой, от которого в случае чего не было бы никакого толку, разве что против маленького ребенка или крошечного мышонка, и даже тогда от него не было бы толку, потому что он боялся мышей и других хвостатых зверей. Но я крепко сжала зубы, чтобы не сказать этого вслух. У Донны был розовый велосипед с голубыми ручками, и если б она вышла погулять, то, может, позволила бы мне прокатиться на нем.

– Куда мы идем? – спросил Уильям, когда мы миновали игровую площадку.

– В переулок, – сказала я.

– Не-а. Нельзя. Мама нам не разрешает туда ходить, – возразила Донна.

– Твоей мамы тут нет, – напомнила я.

– Она не позволила бы нам, если б была здесь, – сказала она.

– Ну а ее здесь и нет.

- Ну а я и не иду.
- Ну а я и не хочу, чтобы ты шла.
- Ну и отлично, значит, иду.

Когда-то переулочек был местом, где жили люди, как в домах на наших улицах. Только в переулочке жили самые бедные семьи – в грязных комнатах с черной плесенью на стенах. У детей из переулочка в груди всегда ужасно хрипело оттого, что они дышали грязным воздухом, на животах были расчесы от клоповых укусов, а вокруг рта – чешуйчатые болячки из-за слюны, сохшей на холоде. Теперь дома в переулочке были заброшены, и бедные семьи уехали оттуда. Говорили, что эти дома разрушат и на их места построят высокие сверкающие здания из коробок, стоящих друг на друге, и в разных коробках будут жить разные люди, но семьи из переулочков не смогут жить там, потому что коробки будут очень дорогими. Из-за этого в церкви даже собирали собрание; взрослые по очереди вставали и говорили что-то вроде: «Это трагедия, что мы живем в обществе, которое ничего не делает, чтобы защитить тех, кто испытывает нужду». Мы с Линдой торчали в задних рядах и поедали печенье со столика для приношений, пока викарий не велел нам уходить.

Люди повязывали белые ленточки на косые жерди ограды в переулочке, чтобы все помнили, что именно здесь умер Стивен. Я стянула одну ленточку и повязала ею волосы. Перед синим домом стояли конусы, между которыми была протянута полицейская лента, но полицейских рядом не было, а под ленту было легко поднырнуть. Уильям обнаружил уцелевшее окно и стал бросать в него камнями, чтобы мы могли отколоть стекла и залезть внутрь. Можно было войти и через дверь, но так скучно – с тем же успехом можно было бы вообще не ходить в переулочек. Я уже почти пролезла в окно, когда пошатнулась и оперлась на раму, чтобы удержаться. В ладони вспыхнула резкая боль, а когда я соскочила вниз, то почувствовала, как по пальцам струится что-то теплое. Вязкое, маслянистое и красное. Я вытерла ладонь о свое платье. Не плакала. Я никогда не

плачу. Теперь на платье еще одно пятно, которое можно выдать за кровь Стивена.

Все хотели увидеть, где он умер, поэтому я повела их наверх. Я замечала вещи, которые не заметила, когда была здесь со Стивеном, – например, диванные подушки, грудой сложенные у печи, раскиданный вокруг мусор... Обои облезали со стен, а там, где стены сходились с потолком, виднелись пятна плесени, похожие на лимонадную пену. Дома в переулке почти все были сырыми.

– Откуда ты знаешь, что это было здесь? – спросила Донна.

– Она была тут, когда тот мужчина вынес его, – сказала Линда. – Убежала вперед, пока я надевала на Полу подгузник. Смотрела через окно. Она видела, как тот мужчина поднял его с пола в этой комнате и отнес вниз, к мамочке.

На самом деле это было неправдой, но мне нравилось, какой важной делали меня эти слова. Когда Донна посмотрела на меня, я видела, что она притворяется, будто совсем-совсем мне не завидует, и на миг мне захотелось сказать ей, что это я совершила убийство, – чтобы заставить ее по-настоящему мне завидовать. Мне пришлось снова сжать зубы. Мне часто приходилось так делать после смерти Стивена, чтобы удержать рот закрытым.

– Это правда? – спросила Донна.

– Да, – сказала я. – Я видела всё.

Подошла к полоске пола под дырой в крыше, где солнце заглядывало внутрь и разливалось желтым светом по половицам.

– Вот здесь он умер. На этом самом месте умер.

Остальные подошли и встали кружком. В середине оставалось как раз достаточно места для тела маленького мальчика.

– Как он умер? – спросил Уильям.

– Просто умер, – ответила я. Потом поплевала на палец и стала тереть порез.

– Так не бывает, – возразила Донна. – Люди не умирают просто так, безо всякой причины.

– Иногда умирают, – сказала Линда. – Когда мне было пять лет, мой дедушка пришел к нам домой на ужин и умер безо всякой причины. Он просто сидел в кресле с куском рыбного пирога на коленях. А потом умер. – Она обвела нас взглядом, словно думала, что кто-то из нас закричит или упадет.

– Но твоему дедушке, наверное, было сто лет, – заявила Донна. – А Стивен был совсем маленький. Это не одно и то же.

– Это одно и то же, – заупрямилась Линда.

– Нет, другое, – сказала Донна. – Не тупи.

Краснота быстро поползла вверх по шее Линды на лицо, и она зажала зубами уголок нижней губы так, что весь рот перекосялся. Вообще Линда действительно тупая, поэтому не так много людей хотят дружить с ней. Она тупит, когда нужно читать или писать, определять время или завязывать шнурки, и порой говорит настолько тупые вещи, что удивляешься, как она вообще ходит, потому что непонятно, каким образом настолько тупой человек способен научиться ходить. Из-за своей тупости она верит во все, сказанное ей, и иногда это забавно. Когда мы были в третьем классе, Линда во время перемены откусила печенье и вместе с ним проглотила свой зуб, и я сказала, что у нее в животе вырастет новый рот, который будет поедать всю ее еду, и она будет делаться все тоньше и тоньше, пока совсем не умрет, и с этим теперь ничего не поделаешь, раз уж она проглотила зуб. Она плакала громко и сильно, слезы текли по лицу, смешиваясь со струйкой крови, бегущей изо рта, и миссис Оукфилд отправила ее в медкабинет. Она спросила, не знаю ли я, из-за чего Линда так расстроилась, но я не ответила. Была занята тем, что доедала Линдино печенье.

Линда ненавидела, когда ее обвиняли в тупости, потому что в глубине души она знала, что это правда, а я ненавидела, когда люди называли ее тупой, потому что она это ненавидела. Я пихнула Донну в грудь.

– Заткнись, картофельная морда. Он просто умер. Как ее дедушка. Это то же самое.

– Спорим, не то же самое, – отозвался Уильям.

– Вот именно. Спорим, другое? – подхватила Донна.

– Слушайте, вы, – сказала Линда. – Вы должны верить Крисси. Она самая умная из нас. Она знает все. – Щеки ее были розовыми, потому что она обычно не произносила фраз, начинавшихся со «слушайте, вы», особенно обращаясь к Донне. Линда сдвинулась ближе ко мне, и я взяла ее за руку.

– Да, – сказала я. – Вы должны верить мне и не должны обижать Линду, потому что она моя лучшая подруга, и если вы будете ее обижать, я вам покажу. Но самое главное – вы должны верить мне, потому что я самая умная и знаю все. И я уж точно знаю, что случилось со Стивеном.

Особенным во мне было не то, что я знала, что же случилось со Стивеном. А то, что *только* я знала, что с ним случилось, – единственная из всех детей, взрослых и даже полицейских. В школе нам сказали, что с ним произошло несчастье, пока он играл в переулке: упал сквозь пол, когда прогнившие доски провалились под ним, и жизнь утекла из его тела, как вода из разбитой чашки. «Поэтому вам никогда не следует ходить в переулок и играть там, – сказали нам. – Понимаете?» Даже если б я не убивала его, я знала бы, что это неправда. Его тело нашли в комнате наверху, так что он не мог бы ниоткуда упасть и разбиться, если только не играл на крыше – а никто не играл на крышах в переулке, даже я, хотя все знали, что я лазаю лучше всех. Он не мог умереть от того, что порезался о стекло, потому что, когда его нашли, на нем не было никакой крови, что бы я ни наболтала Донне. Он умер от того, что я взяла его обеими руками за горло и сжимала, пока не выдавила всю жизнь до последней капли.

С тех пор как Стивен умер, по улицам почти всегда разъезжали полицейские машины. Во вторник одна из них припарковалась у школьных ворот, и двое полицейских пошли в дошкольные группы, чтобы поговорить с малышами. Я отпросилась в туалет, чтобы попытаться пробраться в малышейовую комнату и подслушать, что они

говорят, но дверь была закрыта, а когда я попыталась приоткрыть ее, меня поймала миссис Годдард.

– Перестань здесь ошиваться, Крисси, – сказала она. – Ты знаешь, что не должна быть здесь. Вернись в свой кабинет, пожалуйста.

– Вы имели в виду – «подслушивать», – сказала я.

– Что? – переспросила она.

– «Подслушивать». Вы имели в виду «перестань подслушивать, Крисси». «Ошиваться» – разве так говорят?

– Вернись в свою классную комнату, Крисси.

Ей не нравилось то, что я права.

В тот день полицейские не беседовали с младшими классами, и это было нечестно, потому что я хотела посмотреть на них поближе и не хотела делать классное задание. После школы я увидела, что их машина снова стоит у дома Стивена, села на ограду перед домом мисс Уайтуорт и стала ждать, пока полицейские выйдут. Когда они подошли к воротам, один из них увидел, как я за ними наблюдаю.

– Тебе следует идти домой, девочка, – сказал он. – Мама будет беспокоиться, где ты.

– Нет, не будет, – возразила я.

– Что ж, тогда ступай домой и посмотри телевизор.

– У нас нет лектричества.

Он открыл дверцу своей машины и продолжил:

– И все равно ступай домой. Детям опасно быть одним на улице.

Он втиснулся на сиденье, и они уехали. Я смотрела вслед машине, пока она не скрылась за углом. Полицейские потратили кучу времени, пытаясь выяснить, что случилось со Стивеном. Знание этого вызывало у меня пощипывание в кончиках пальцев, такое же, какое я испытывала на языке, когда Бетти подначила меня десять секунд пососать батарейку.

* * *

Когда нам больше нечего стало делать в синем доме, мы вернулись на улицу. Пока были в переулке, мамочки развешали постиранное белье между крышами прямоугольных домов, и простыни и рукава махали нам, хлопая на ветру. Я сказала Донне, чтобы она дала мне покататься на своем велике, но она сказала, что не даст, поэтому я ударила ее, и она удрала домой – жаловаться. У Уильяма в кармане было несколько монет, и когда Линда ушла домой обедать, он зашел в магазин и купил мясной пирог. Мы сидели на игровой площадке, прислонившись спиной к опорам брусьев, пока он ел.

– Как думаешь, долго Стивен будет мертвым? – спросила я. Рот Уильяма был набит пирогом, поэтому он ничего не ответил. Капля скатилась по подбородку. Я чувствовала ее запах – жареный, соленый, – и в желудке засосало. Уильям жевал долго, потом откусил еще кусок и снова принялся жевать. Я пнула его по ноге, чтобы он обратил на меня внимание. – Как думаешь, долго Стивен будет мертвым? – повторила я.

– Не пинай меня! – сказал он.

– Буду, если захочу.

Он двинул мне кулаком между глаз, и я ударилась головой о брусья. В ушах зазвенело. Я не заплакала. Никогда не плачу. Попыталась снова пнуть его, но он убрал ногу подальше.

– Он всегда будет мертвым, – заявил Уильям.

– Не-а, – возразила я.

Я знала, что это не так. Стивен и так уже мертв слишком долго, а «всегда» – это еще намного дольше. Я подумала, что он, наверное, снова станет живым к Пасхе. Пасха – хорошее время, чтобы снова становиться живым. Он уж точно не будет мертвым всегда.

– Будет, – сказал Уильям. – Будет.

– Не будет, – ответила я и зажала уши руками, чтобы больше не слышать его. Сосущее ощущение внутри росло, пока не превратилось в когтистый кулак у меня в животе. – Дай мне кусок пирога, – сказала я. Уильям помотал головой, не поднимая взгляда.

Когда он набивал рот, щеки его делались совсем круглыми. – Если дашь мне кусок, разрешу засунуть руку ко мне в трусы.

Он сглотнул и вздохнул.

– Ну ладно. Но только один кусочек.

Он встал. Я задрала платье спереди, взяла его руку и сунула себе между ног. Его пальцы были теплыми и вялыми, и он стоял настолько близко, что я могла бы сосчитать веснушки у него на щеках. Горячее дыхание пахло подливой. Мы стояли так некоторое время. Его пальцы так и оставались вялыми. Я выпустила подол платья и свесила руки по бокам. Притворилась марионеткой. На самом деле было ужасно скучно.

Вытащив руку, Уильям сунул ее в карман и отдал мне остаток пирога, чтобы освободить другой карман, куда сунул вторую руку. Я быстро начала есть пирог. У него был вкус соли и жира, упругое мясо скрипело на зубах.

Я была так голодна, что забыла жевать только на той стороне, где нет гнилого зуба, и боль прострелила челюсть до самой шеи. Когда доела, мы полезли на брусья, но не смогли вскарабкаться на них так, как делали обычно, потому что ладони были жирные. Уильям сказал, что пойдет домой, а я ответила, что если он уйдет, я побегу за ним и ущипну его так, что у него навсегда останется синяк на руке. Он заплакал. Не знаю, то ли из-за того, что испугался моего щипка, то ли потому, что совал руку ко мне в трусы. Мне казалось, что плакать в любом случае не из-за чего.

Джулия

Когда я поднялась наверх, телефон перестал звонить. Я вымыла миску из-под хлопьев, оставшуюся после завтрака Молли, и снова отошла к двери. Помедлила. Мысли были полностью заняты телефонным звонком, а когда я о чем-то сильно задумываюсь, по-прежнему забываю, что могу сама отпереть дверь. Возможно, к тому времени, как мне исполнится тридцать, отучусь от этого рефлекса – ждать взрослого с ключом. Когда мне будет тридцать, я проживу вне Хэверли дольше, чем жила в нем.

Хэверли был Домом особого сорта: с заглавной буквы и с ограждением по периметру. Местом для детей, которые слишком плохие, чтобы жить у себя в доме со строчной буквы. Меня отвезли туда из тюрьмы в машине с тонированными окнами. Перед тем как покинуть камеру, я съела еду, которую охранник принес мне из столовой: сосиски с треснувшей бурой шкуркой и круглый темный пудинг, похожий на почву, оставшуюся на дне цветочного горшка. Ела быстро, хватала пальцами, проглатывая комки и чувствуя, как они падают в желудок, словно камешки. Я не знала, накормят ли меня когда-нибудь еще. Когда доела, меня посадили в машину вместе с двумя полицейскими, и мы несколько часов ехали по извилистым, ухабистым дорогам, от которых завтрак подпрыгивал и извивался внутри. Тонкая пленка жира осела на деснах, на языке, скопилась на месте отсутствующих зубов. У нее был вкус мяса, и что-то горькое, как бензин, поднималось к горлу изнутри.

– Меня немного тошнит, – сказала я.

– Дыши глубже, – посоветовала женщина-полицейский.

– Можно приоткрыть окно?

– Нет, – ответила она, потом открыла «бардачок» и протянула бумажный пакет. – Вот, держи. Можешь срыгнуть сюда.

Остаток пути я пыталась заставить тошноту дойти до самого горла, потому что хотела размазать все это по заднему сиденью. Тогда мне

позволили бы опустить стекло. Но меня так и не стошнило, пока машина не остановилась на подъездной дорожке у Хэверли. Женщина-полицейский подошла, чтобы открыть дверцу с моей стороны; порыв холодного воздуха ударил меня в лицо. Тогда я согнулась и блеванула ей на ботинки.

– О боже, – произнесла она.

– Я же говорила, что меня тошнит, – сказала я, вытирая губы рукой, а потом вытирая руку о сиденье.

Она вытащила меня из машины за локоть, и я увидела низкие здания, стоящие квадратом. Это было совсем не похоже на тюрьму. Я поморщилась от разочарования. Воображала-то себе колючую проволоку и решетки на окнах. Знала, что это произвело бы впечатление на Донну, когда она приедет навестить меня.

Люди, патрулировавшие коридоры Хэверли, ходили не столько на родителей, сколько на зрителей зоопарка. Каждое утро они будили меня в одно и то же время, отводили в ванную комнату, следили, как я принимаю душ; отводили меня обратно в спальню, следили, как одеваюсь; отводили в столовую, следили, как я ем; отводили в школу, следили, как я рву свою тетрадь и прячу под партой. Большинство из них были добрыми. Они называли меня «детка», «дружок» и «девочка», учили, как не переступить грань ярости: дышать, считать, перечислять то, что вижу вокруг. День за днем эти надзиратели постоянно были рядом со мной, заставляя думать, что они здесь потому, что любят меня, но по вечерам начинали посматривать на свои часы и спрашивать: «Ночная смена еще не пришла?» Что бы мы ни делали вместе, когда приходили ночные надзиратели, дневные поднимались и говорили: «Пока, детка, увидимся завтра». Именно тогда я вспоминала, что они на самом деле вовсе не любят меня. Они со мной только потому, что им платят. Тогда я швыряла игровую доску через всю комнату, рвала учебники или била других детей головой о стену. Когда я делала такие плохие вещи, надзиратели подходили и держали меня за руки и за ноги – по одному на каждую конечность – так крепко, что я не

могла двигаться. Я часто делала что-нибудь плохое. Мне нравилось, когда меня держали. Нравилось обмякать в руках и слышать, как говорят: «Вот так. Успокоилась, вот умница. Хорошая девочка, Крисси. Хорошая девочка». Почти как будто я вовсе не плохая.

Хэверли был полон собственными ритмами и шумами – сиренами, воющими в коридорах, криками детей в комнатах, – но самым главным звуком был перезвон ключей, которые надзиратели носили объемистыми связками на поясах. Когда я начала новую жизнь, то всякий раз, доходя до закрытой двери, останавливалась у нее и ждала, пока надзиратель отопрет и пропустит меня. И каждый раз, осознавая, что могу сама отпереть ее, я чувствовала острое желание закричать. Люди говорили, что несправедливо было отпускать меня, когда мне исполнилось восемнадцать, говорили, что меня нужно оставить под замком навсегда. Я согласна: несправедливо. Люди, обладающие властью, сначала спрятали меня от мира, а потом выкинули в жизнь, которой я не умела жить, в мир, который не умела понимать. Я скучала по лязгу и перезвону, царившему в коридорах Хэверли, по большим металлическим замкам на дверях.

«То был мой дом, – хотела сказать я, – мой дом с маленькой буквы. Было несправедливо заставлять меня покинуть его».

* * *

Холодная погода загнала в кафе толпу рабочих, и я весь день отмеряла порции картофельных ломтиков в полиэтиленовые пакеты и пробивала чеки на кассе. В обед взяла из витрины с подогревом кусок пирога с курицей и грибами и съела в уголке кухни. Начинка была мучнистой, склеенной солоноватым серым клейстером. Я слизала крошки, застрявшие между зубцами металлической вилки, и ощутила слабое сожаление, когда они закончились.

В три часа миссис Г. вышла из кабинета и похлопала меня по плечу.

– Тебя просит к телефону какая-то женщина, – сказала она. – Некая Саша. Говорит, пробовала дозвониться тебе домой. Говорит, что она из службы опеки. Но что ей нужно, не сказала. Подойдешь?

Язык превратился в горячий кусок сырого мяса. Я посмотрела на Аруна, взглядом прося его: «Пожалуйста, скажи, что мне нельзя подойти. Скажи, что я должна мыть пол, или жарить рыбу, или присматривать за посетителями». За столиком в углу одиноко сидела пожилая женщина, обдирая кляр с жареной трески. Арун махнул рукой и сказал:

– Да, конечно, иди, Джулия.

И я проследовала за миссис Г. Я чувствовала себя ребенком, которого выгнали из класса. В кабинете она снова похлопала меня по плечу, отошла к дивану и взяла в руки свое вязание. Я думала, что миссис Г. вернется на кухню, но она взяла из миски, стоящей на кофейном столике, две конфеты в розовых обертках и села на диван.

– Не обращай на меня внимания, дорогая, – сказала она. – Тебе нужно говорить по телефону, а я пока послушаю радио.

Миссис Г. милая и очень любопытная. Она, конечно, не станет слушать радио. Будет слушать меня. Я взяла телефонную трубку кончиками пальцев.

– Алло.

– Привет, Джулия, привет. – Саша была одной из немногих людей в мире, знавших, кто я такая на самом деле. Она притворялась, будто не ненавидит меня, но у нее не получалось – я слышала это в ее голосе, под слоем оживленности. Ненависть. – Как вы? – спросила она.

– Хорошо, – ответила я.

– Отлично. Отлично. Значит, так. Мне звонили из больницы, – сказала она. Мне показалось, будто в горло вонзился рыболовный крючок, дергая за миндалины и пытаюсь вывернуть меня наизнанку. – Как Молли? Осваивается с гипсом?

Молли невероятно гордилась гипсовой повязкой на руке. Перевязь она носила только в течение выходных, а в понедельник утром я с радостью сунула обе ее руки в рукава пальто. Когда она надевала пальто поверх перевязи, пустой рукав жутковато болтался. В понедельник я натянула его поверх гипса, так, что виднелся только белый краешек, но Молли поддержула рукав, чтобы все первым делом видели повязку на ее предплечье. Она вошла в школу, гордо неся загипсованную руку, точно трофеей, а когда вернулась, гипс был расписан фломастерами от локтя до запястья. Молли изрядно времени потратила на то, чтобы показать мне каждый рисунок и рассказать, кто его нарисовал, а когда пришли домой, попросила тоже нарисовать что-нибудь. Но я не стала.

– У нее все хорошо, – сказала я.

– Отлично, – отозвалась Саша. – Замечательно. Что ж, я просто подумала, что неплохо бы вам прийти и повидаться со мной. Просто короткая встреча. Как насчет завтрашнего утра? Подойдет?

– Завтра?

– Утром. В десять. Годится?

– Но у Молли все хорошо.

– Почему бы нам просто не поболтать завтра?

Я не хотела болтать завтра. Хотела сказать Саше, что повторенное «просто» не делает то, о чем она говорит, менее угрожающим; хотела спросить, кто донес на меня. Скорее всего, щурящийся врач, который посчитал, будто я намеренно причинила Молли вред. Миссис Г. начала подпевать музыке, игравшей по радио, а часы на стене подсказывали мне, что пора идти забирать Молли из школы. Казалось, горло сжалось, превратившись в тонкую резиновую трубочку.

– Завтра. Отлично. До свидания, – сказала я и повесила трубку.

Глотать было больно. Дышать больно. Я пыталась избавиться от помехи, возникшей где-то между ключиц, но она оставалась на месте.

Если б миссис Г. не щелкала спицами прямо у меня за спиной, я спросила бы Сашу, назначена ли эта встреча для того, чтобы сказать мне, что они забирают у меня Молли, и она издала бы отрицательное высокое фырканье и сменила бы тему. Я была рада, что эта пантомима осталась неразыгранной. Они уже много лет хотели забрать Молли, но не могли найти повод – а теперь этот повод нашелся, большой, неуклюжий и покрытый фломастерными надписями. Я подумала о напряженном голосе, который слышала по телефону. «Крисси». Кто бы это ни был, он каким-то образом выследил меня. Должно быть, поговорил с кем-то, кто знает меня, с кем-то, кто ненавидит меня. Саша знает. И ненавидит.

Боль тугой лентой натянулась между плечами и распространилась до основания черепа. Я выгнула спину, борясь с нею. Та же боль, которую я чувствую каждый год, – воскресает весной и рассеивается с приходом лета. Иногда, когда я чувствовала, как она распространяется от моих плеч к голове, я представляла ее кровью в воде. Темно-красными руками, опущенными в прозрачную жидкость.

Я потеряла выступы позвонков, тянущиеся от основания шеи к затылку.

– Шея затекла? – спросила миссис Г.

– Всё в порядке, – сказала я, но она уже стояла позади – на голову ниже меня и вдвое шире.

Отвела мою руку, и я почувствовала прикосновение цепких пальцев. Кожа на подушечках затвердела от многих лет вязания на спицах разных вещей из плотной шерстяной пряжи. Я чуюла запах пряностей и опилок – и вдруг ощутила резкое желание заплакать. Прикосновение пальцев к моей коже заставило меня почувствовать себя маленькой и беззащитной. Я сжала зубы. Никогда не плачу.

– У тебя шея просто каменная, – сказала миссис Г., равномерно очерчивая большими пальцами круги чуть ниже моего затылка. – И шея, и плечи тоже. Это все из-за того, что Арун постоянно заставляет тебя стоять над фритюрницей. Я скажу ему, чтобы он так не делал. Тебе нужно каждый день по двадцать минут лежать на

полу. Подложить под голову книги и плашмя лежать на полу, не двигаясь. Хорошо?

Я кивнула, но ничего не сказала. Сняла фартук, натянула куртку и вышла в предвечерний холод.

Все впустую. Месяцы тошноты и тяжести, годы мытья, работы и беспокойства. Я купила Молли кроссовки с лампочками в подошве, водила ее в церковь в канун Рождества и учила смотреть в обе стороны, прежде чем переходить дорогу... но точно так же я могла бросить ее в угол, пока она была еще младенцем, и ждать, пока она захлебнется своим криком. В обоих вариантах все закончилось бы одинаково: моим одиночеством.

За неделю до того, как упасть с парашюта, Молли перестала жевать посреди чаепития и посмотрела на меня, выпучив глаза и прижав пальцы к губам.

– Ой, зуб, зуб, – пискнула она.

– Болит?

– Как-то странно чувствуется.

– Странно болит?

– Нет, просто странно.

Это было хуже всего: то, что Саша была достаточно жестокой, чтобы забрать ее, достаточно подлой, чтобы забрать ее, и имела право забрать ее. Потому что ребенок, оставшийся со мной, должен в итоге превратиться в мозаику из гнилых крошащихся кусочков. Если Молли останется со мной, она вырастет и станет Крисси.

На полпути вдоль улицы я нырнула в переулок и прислонилась к стене. Расстегнув молнию, распахнула куртку, чтобы холодный ветер остудил пот под мышками. Представила, как этот пот превращается в корку инея, осыпающуюся при малейшем движении. Собственное сердце казалось мне крошечным и пустым, словно бубенчик на кошачьем ошейнике. В переулке стоял сильный запах мочи, и он стал еще сильнее, когда я сползла наземь. Когда рухнула на колени. Когда уткнулась лбом в асфальт. Когда раскрыла рот, чтобы закричать.

Крисси

На следующее утро, проснувшись, я увидела маму возле моего гардероба.

– Сегодня ты не пойдешь в школу, – сказала она.

Я пощупала у себя под подбородком.

– У меня свинка? – Многие ученицы не ходили в школу из-за того, что болели свинкой.

– Нет, – ответила она.

Потом достала из гардероба мое церковное платье и понюхала его под мышками, затем сбрызнула цветочными духами из красивого стеклянного флакончика. Я не знала, зачем мама достала церковное платье в пятницу. Выколупала из уголка глаза кусочек засохшей слизи и спросила:

– Мы идем в церковь?

– Нет, – сказала она. – Конечно, нет. Сегодня пятница. Одевайся.

– Ты заплатила за электричество?

– Одевайся, – повторила мама и ушла, но я встала не сразу. Еще полежала в постели, водя костяшками пальцев по своим ребрам, которые выступали, словно бруски ксилофона, на груди ниже сосков.

На самом деле я не любила ходить в школу, потому что мне не нравилась мисс Уайт, не нравилось делать задания и не нравилось сидеть рядом с Ричардом, но мне нравилось быть дежурной по молоку. Когда ты дежуришь по молоку, то во время перемены выходишь из класса и забираешь с игровой площадки ящик с молочными бутылками, а потом ставишь на каждую парту по бутылке и кладешь соломинку. Когда все молоко роздано, мисс Уайт обходит класс, неся жестяную коробку с печеньем, и кладет по штучке рядом с каждой бутылкой. Я долго пыталась уговорить мисс Уайт сделать меня дежурной по печенью, потому что это было бы еще лучше, чем быть дежурной по молоку, но она всегда говорила «нет».

– Отвечать за печенье должны взрослые, – сказала мисс Уайт.
– Почему? – спросила я.
– Потому что это взрослая работа.
– Мне кажется, это должен делать кто-то из детей. Думаю, я должна.

– Крисси, сделать тебя дежурной по печенье – это, как говорится, рецепт катастрофы.

Я понятия не имела, о чем она.

Можно было заранее сказать, будет сегодня плохое молоко или хорошее, если присмотреться к бутылкам в ящике. Лучше всего, когда они покрыты тонким слоем водяных капель, словно вспотели: это значит, что молоко в бутылках свежее и холодное. Когда они покрыты инеем, это уже не так хорошо, потому что значит, что молоко замерзло и тебе придется оттаивать его на батарее, а это долго. Хуже всего бывало, когда с самого утра светило солнце и белая жидкость в бутылках становилась цвета сливочного масла. Это означало, что молоко будет теплым, словно вода в ванной, густым и похожим на творог.

Лучше всего в работе дежурной по молоку было то, что, раздав бутылки, я относила ящик обратно на игровую площадку, а потом представлялась возможность выпить молоко из ничейных бутылок. Они почти всегда оставались, потому что кто-нибудь из учеников почти всегда отсутствовал. В хорошие дни в ящике оставалось пять или шесть бутылочек. Поставив ящик на землю под карнизом, я пригибалась и протыкала пальцем бутылочные крышки. Забавнее было бы протыкать фольгу соломинкой, тогда получался приятный щелчок, но пить ничейное молоко нужно было быстро-быстро, а через соломинку получалось медленно-медленно. Я была дежурной по молоку всю весну и научилась пить очень быстро. Бутылка, палец, глоток, готово. Могла опустошить бутылку одним глотком. По правде говоря, я не очень любила молоко, но если выпить его много, то можно не волноваться о том, что после школы нечего есть. После окончания перемены приходилось сидеть за партой очень смиренно,

ведь живот был настолько заполнен, что я знала: если буду двигаться слишком быстро, стошнит. Наверное, поэтому мисс Уайт и позволила мне так долго быть дежурной по молоку – тогда после перемены я вела себя тихо.

Мама крикнула, чтобы я пошевеливалась, и я откинула одеяло, думая о том, что не пойти в школу – значит остаться без молока и без школьного обеда тоже. Это будет очень голодный день, но иногда так случается в жизни. Нужно только не опускать голову.

Выбравшись из постели, я посмотрела на простыню, покрытую желтыми пятнами, которые накладывались друг на друга. Такие же круги бывали у меня на руках, когда меня ели лишайные грибки: темные по краям, разной величины. Посередине постель была мокрой, а ночнушка оказалась холодной и липкой. Мама оставила флакончик с духами на подоконнике, и я побрызгала самые заметные пятна на простыне. Однако от этого она стала пахнуть не лучше, а даже хуже. Я прикрыла простыню одеялом и понадеялась, что к ночи она высохнет.

В кухне мама заплела мне волосы в тугие косы. Пальцы у нее были грубыми; она так дергала меня за волосы, что мне казалось, будто кожа на голове сейчас лопнет, но я не издала ни звука, потому что тогда она стала бы дергать еще сильнее. Закончив, мама положила ладонь мне на голову и прошептала:

– Отче, защити меня. Боже, сохрани меня.

Ладонь у нее была холодная, и пахло от нас обеих одинаково: цветами на поверхности и грязью под. После молитвы мама вытерла ладонь о бедро, словно избавляясь от прикосновения ко мне.

Мы вышли из дома и вместе пошли по улице. Ее туфли издавали звук «кляк-кляк, кляк-кляк», точно копыта пони, а пальцы впились в мое запястье. Мы прошли мимо мальчишек, которые играли на углу со старой велосипедной шиной, но большинство детей торчали в школе. Я была недовольна. Хотела, чтобы они видели, как мы с мамой идем по улице в своих церковных платьях, почти держась за руки. Когда мы дошли до города, церковные туфли натерли мне

пятки, но когда я замедляла шаг, мама дергала меня за руку, принуждая идти быстрее. Мы вышли на главную улицу и прошли мимо бакалейного магазина, мясного магазина и универмага «Вулворт». Я спросила маму, куда мы идем, но она не услышала или притворилась, будто не услышала, и когда мы почти дошли до конца улицы, она втащила меня в какую-то дверь так быстро, что я даже не заметила, что написано на этой двери.

За дверью оказался вовсе не магазин, как я думала. Там была приемная, такая же, как у детского врача или стоматолога. Я видела такие приемные в роликах, которые нам показывали в школе. Один из них назывался «Визит к терапевту», а другой – «Визит к стоматологу». Все в этой комнате было мягкого, неяркого цвета, а на стенах висели фотографии семей с широкими белозубыми улыбками, и я подумала, что это, наверное, кабинет стоматолога, а мама привела меня сюда, чтобы вылечить мой гнилой зуб. Она подтащила меня к столу, за которым сидела женщина, разговаривая по телефону. Когда женщина увидела нас, она положила трубку и улыбнулась так же широко, как люди на фотографиях, только зубы у нее были желтые и неровные, словно булыжники в мостовой, и даже наезжали один на другой. Я подумала, что люди с такими зубами не должны работать у стоматолога. И еще подумала, что людям с такими зубами вообще нельзя выходить из дома.

– Это моя дочь, – сказала мама. – Ее зовут Кристина. Ее нужно удочерить.

– Ну-у... – сказала женщина за столом.

– Удочерить.

– Э-э-э...

– Кристину нужно удочерить.

– Ты уже много раз это сказала, – вмешалась я.

– Заткнись.

Я обводила узор на ковре носком своей церковной туфли. Лицо горело. Мама не понимала, что такое удочерить. Удочерить – это когда люди берут к себе не свою девочку, как мама Мишель приняла

ее к себе от жестоких людей, живших в Лондоне, и оставила у себя, хотя Мишель по-настоящему-то не ее ребенок. Но я с самого начала мамин ребенок. Ей не нужно меня удочерять. Такие мамыны ошибки я ненавижу. От них лицо горит. Когда я подняла взгляд, то увидела, как женщина за столом облизывает губы, и подумала, что сейчас она объяснит маме насчет удочерения; но вместо этого женщина обратилась ко мне.

– Привет, зайчик, – сказала она. – Кристина – красивое имя. А меня зовут Энн. Может быть, ты присядешь, пока я немного поболтаю с твоей мамочкой? Если хочешь, могу дать апельсиновый сок.

Я села на одно из поцарапанных синих кресел у окна, и Энн принесла мне сок в пластиковом стаканчике. Он был таким жидким, что я решила: наверное, это просто вода, которую она налила в стаканчик, где когда-то был настоящий сок. Я смачивала в нем пальцы и рисовала узоры на подлокотнике кресла. Мама не смотрела на меня. Она стояла очень прямо, одной рукой обхватив себя за пояс, а второй сжимая полу пальто. Пальцы ее были белыми и скрюченными, словно когти.

Энн вернулась к столу и собралась уже заговорить с мамой – тихо, чтобы я не услышала, – когда дальше по коридору открылась дверь, и мы услышали плач. Это был приглушенный плач со всхлипами, как будто кто-то прижимал ко рту носовой платок, и почти сразу же по коридору прошла женщина, прижимающая носовой платок ко рту. Я подумала, что это она, должно быть, плакала. Платок раньше был белым, но теперь сделался серым и слишком мокрым, чтобы вместить еще больше слез, однако женщина продолжала проливать их. Когда она дошла до конца коридора и увидела в приемной маму и меня, то перестала плакать и покачнулась. Потом сложила платок пополам и высморкалась в него, сложила еще раз и вытерла под глазами. Моргнула много раз подряд.

Она была красивой. Лицо ее было в пятнах оттого, что она плакала, макияж вокруг глаз размазался, но она все равно была

красивой. Желтые волосы и пудра на щеках. Я посмотрела на ее ноги, затянутые в чулки того же цвета, что и кожа, отчего эти ноги были гладкими, как у куклы. Мамины ноги покрыты царапинами и шелухой, как и мои. Мама уродливая, как и я. А эта женщина не была уродливой. Она была как ангел.

Когда она сумела перестать плакать, то подошла к столу и сказала Энн:

– Ничего не получилось. Они разрешили матери оставить его. После всего этого... Это неправильно. Так нельзя поступать с людьми.

Энн наморщила лоб и начала говорить:

– О, мне так...

Но моя мама перебила ее.

– Вы хотите взять приемного ребенка? – спросила она.

Красивая женщина скованно кивнула, беря из коробки на столе у Энн чистые бумажные салфетки. Мама быстро подошла ко мне и дернула меня за локоть с такой силой, что я вся облилась водянистым апельсиновым соком. Затем толкнула меня вперед, по направлению к красивой женщине, и сказала:

– Это Крисси. Она моя. Но ее нужно удочерить. Можете забрать себе.

Энн сказала «но», «подождите» и «нет», а красивая женщина сказала «но», «я» и «о». Мама положила руку мне на спину и сразу же отдернула, как будто коснулась чего-то очень горячего, или очень острого, или очень ужасного. Как будто она положила руку на кого-то, сделанного из разбитого стекла. А потом вышла. В приемной было тихо. Я слышала в голове голос мамы, произносящий: «Она моя». Никогда раньше не говорила такого обо мне.

Я посмотрела на свое церковное платье, мокрое от сока и обтрепанное по краю. Гадала, купит ли мне эта красивая женщина новое красивое платье, когда заберет меня к себе домой. Мишель была всего лишь толстым младенцем, когда ее мамочка приняла ее от тех жестоких людей в Лондоне, но все равно получила платьица,

игрушки и красивые туфельки с мягкой подошвой. Я надеялась, что эта красивая женщина так же отнесется ко мне.

– Я бы хотела новое платье, – сказала я на тот случай, если она постесняется предложить. – Можно купить его по пути к вам домой.

Она облизнула нижнюю губу, словно ящерица, потом повернулась и прислонилась к столу, чтобы поговорить с Энн. Я слышала «пойти за ней», и «явно что-то не так», и «боюсь, ничего не поделаешь», и «хотела маленького ребенка», и «слишком большая, да, слишком большая». К тому времени как женщина снова обернулась, я уже опять сидела в кресле. Она подошла ко мне, остановилась, несколько раз моргнула, облизала губы и произнесла:

– Я... – Потом глупо хихикнула, еще глупее махнула рукой и выскочила за дверь в вихре пудры и желтых волос.

Энн надела пальто, взяла свою сумку и принялась болтать – как болтают взрослые, когда думают, что могут удержать тебя от плача, забивая тебе уши бессмысленным шумом. Я хотела сказать ей, что не нужно этого делать, потому что я никогда не плакала, но у меня возникло забавное булькающее ощущение в глубине носа и в горле, отчего трудно стало говорить. Я подумала, что, наверное, простудилась. Энн пыталась взять меня за руку, но я сунула обе руки в карманы с такой силой, что прорвала подкладку. Тащила за Энн вдоль по улице, шаркая носками церковных туфель по асфальту. Шел дождь, и люди шагали по улице, сгибаясь пополам. Энн постоянно останавливалась и поторапливала меня, но это лишь заставляло меня идти еще медленнее. Позади ковыляла какая-то старуха, и когда Энн в четвертый раз остановилась и поторопила меня, она сказала:

– Ты же не хочешь отстать от мамочки? Тогда не глупи и не тяни время.

Я показала ей язык.

– Это невежливо, юная леди, – заметила она.

– Я не вежливая, – ответила я. – И не леди.

– Ха. Что ж, это верно, ты не леди.

Когда мы отошли от города, мне пришлось идти впереди и показывать дорогу по улицам, потому что Энн не знала, где я живу. С ее стороны вообще было глупо приходить сюда и тащиться в полушаге позади меня с ее дурацкими кривыми зубами. Мы прошли мимо переулка; Энн посмотрела на тот синий дом, и я поняла, о чем она думает.

– Знаете, а я была там, когда он умер, – сказала я.

Ее брови полезли прямо под дурацкую челку.

– «Когда он умер»? – переспросила она.

– Ну, я была там, когда его нашли, а это почти так же круто, – поправила я. – Я видела, как мужчина нашел его в доме и отнес вниз, к мамочке. Он был весь в крови. Она текла изо рта, ушей, отовсюду. Его мамочка плакала вот так. – Я завывала и запыхтела, как умирающая лиса, чтобы показать, как плакала мамочка Стивена.

Лицо Энн слегка посерело.

– Должно быть, тебе очень страшно думать о том, что случилось с тем мальчиком, – сказала она дурацким сладким тоном. – Это ужасно, что такое могло случиться с маленьким ребенком... Но ты ведь знаешь, что тебе ничего не грозит, верно? Полиция поймает того, кто убил его, и тот человек больше не сможет сделать ничего плохого никому из детей.

Внутри меня закипели лимонадные пузырьки.

– Сможет, – возразила я.

– Что? – спросила она.

– Сможет сделать плохое другим детям. Тот, кто убил Стивена. Сможет сделать что-нибудь плохое.

– Нет, не сможет. – Энн пыталась похлопать меня по плечу, но я отскочила, поэтому она похлопала то место, где меня не было. – Никто из детей больше не пострадает. Обещаю.

Люди всегда обещали разные вещи, как будто «обещаю» не было просто глупым словом.

– Вы не можете этого обещать. Вы не можете это прекратить. И никто не может.

Энн ослабила ворот своего дурацкого пальто вокруг своей дурацкой шеи. Капельки пота выступили у нее на носу, хотя было холодно.

– Что ж, – произнесла она. – Я думаю, полиция станет беречь всех детей. Это очень важно. Важно, что тебе ничего не грозит.

– Я и не говорила, что мне что-то грозит.

Хотела сказать, что с тех пор, как убила Стивена, я чувствовала себя в безопасности намного больше, чем когда-либо прежде, потому что стала той, кого нужно остерегаться, а быть той, кого остерегаются другие, – самое безопасное. Я решила, что она не тот человек, кому следует говорить подобное. Слишком глупая.

Когда мы подошли к моему дому, Энн ступила на дорожку следом за мной. Я повернулась и стояла на месте, преграждая путь к двери.

– Просто хочу зайти и поговорить с твоей мамочкой, Кристина, – сказала она.

– Нет, – ответила я.

– Тебе не о чем волноваться, – заверила Энн и попыталась пройти мимо меня. – Просто хочу сказать твоей маме несколько слов. Чтобы убедиться, что с вами обеими всё в порядке.

– С нами обеими всё в порядке. Но вы не можете поговорить с ней. Она занята. Она работает.

– Дома?

– Да?

– И какую работу делает твоя мамочка?

Верхнее окно было приоткрыто, и из него доносился мамин плач. Энн подняла взгляд на окно, потом посмотрела вниз, на меня, потом снова вверх, на окно.

– Она художница, – сказала я. Мама громко протяжно рыдала. – Иногда картины получаются не так, как ей хотелось бы, – объяснила я.

Я думала, после этого Энн оставит меня в покое, но она шагнула вперед и прижала свой дурацкий палец к кнопке звонка. Ей пришлось нажимать три раза, прежде чем мама подошла к двери,

одетая в халат, слишком сильно открывавший ноги. Я не хотела больше слушать тупые речи Энн или дурацкий мамин плач, поэтому протиснулась мимо них, поднялась по лестнице, пересекла площадку и вошла в свою комнату. Там по-прежнему пахло мочой и духами. Я стащила с кровати простыню и запихнула в шкаф. Матрас под ней был такой же грязный и вонючий, но я застелила его одеялом и притворилась, будто он чистый. Через несколько минут услышала, как закрылась входная дверь, услышала, как мама поднимается по лестнице и уходит к себе в комнату. Она больше не плакала. Мы обе сидели в своих комнатах и прислушивались к тому, как мы прислушиваемся друг к другу.

Когда я поняла, что мама не зайдет повидать меня, даже не собирается накричать на меня, я подошла к окну и стала смотреть, как снаружи хлещет дождь. Только миновало обеденное время, но я не могла зайти ни к кому, потому что все были в школе. Мамин флакон с духами все еще стоял на подоконнике в моей комнате, и я вытащила пробку, открыла окно и вылила все духи на улицу, под дождь. Когда флакон опустел, бросила его на землю. Я хотела, чтобы он разбился на миллион сверкающих осколков, которые порезали бы мамыны ноги в следующий раз, когда она выйдет из дома босиком, но он ударился о дорожку с глухим стуком и отскочил в траву.

Меня начал терзать голод, но в кухонных шкафах не было ничего, кроме сахара и моли. Я открывала и закрывала их, думая о молочных бутылках, стоящих в ящике перед школой. Сегодня холодно, сегодня пятница, и это значит, что молоко свежее, а на обед в школе давали рыбу с жареной картошкой. Моя любимая еда. Я с силой пнула металлическое основание плиты, и из-за нее вывалился пакет «Ангельского лакомства»^[3]. Порошок превращался в густое тесто у меня на языке. Мама наверху снова начала плакать, издавая мяукающие звуки, словно котенок. Я пыталась не слушать, но плач застревал у меня в голове, обвивал изнутри, словно плющ, карабкающийся по прутьям ограды.

Поднимаясь обратно наверх, я смотрела под ноги, на корку грязи, сажи и волос, покрывающую пол, но перед маминой комнатой невольно подняла взгляд. Дверь была открыта. Она была закрыта, когда я спускалась на кухню, и это значило, что мама услышала, как я спускаюсь, подошла к двери, открыла ее и отошла обратно. Она сидела на своей кровати, прислонясь лбом к изголовью, и стонала. Я посмотрела, прилагаются ли к этому звуку слезы, но их не было. Щеки были сухими. Она выдавливала из себя этот стон длинной лентой, и каждые несколько секунд скашивала глаза в сторону, чтобы убедиться, что я смотрю.

– Почему ты плачешь? – спросила я. – Это потому, что я пришла обратно?

Она не ответила, и я прикрыла дверь, потому что было похоже, что я только сделала хуже, а не лучше. Раздался визг, потом звук чего-то твердого и тяжелого, брошенного о стену.

– Ты не понимаешь! – завизжала мама. – Тебе вообще плевать! Тебе вообще на все плевать, Крисси!

Вскоре после этого она перестала плакать – наверное, потому, что я не видела ее, и она поняла, что я не приду и не скажу, что мне не плевать. Если она не добилась от меня ничего своим плачем, значит, вообще ничего не могла им добиться, кроме рези в глазах и в горле. Я заставила мышцы живота сжаться, согнулась и выблевала «Ангельское лакомство» на пол. Оно закапало вниз сквозь щели между половицами. Пусть мама сама прибирает. Я вытерла рот тыльной стороной кисти, переступила через лужицу кремового цвета и ушла в свою комнату. Закрыла за собой дверь. Упала на кровать плашмя. Сказала себе, что на следующее утро сделаю кому-нибудь плохо, кому угодно, стольким людям, скольким захочу. Сунула в рот угол подушки и закричала.

Джулия

За все шесть месяцев с тех пор, как Молли пошла в школу, я ни разу не опаздывала забрать ее. Ближе всего была к опозданию в тот день, когда ее отпустили на рождественские каникулы: долго стояла в очереди в магазине игрушек. Заплатила за покупку, добежала до квартиры и спрятала «Шарик, катись»^[4] в своем гардеробе, рядом с коробкой игрушек, которые с самого августа собирала для подарка. Проскользнула в школьные ворота ровно в половине четвертого, как раз в тот момент, когда мисс Кинг вывела из школы толпу четырехлеток и пятилеток. Молли подбежала ко мне, сжимая в руке шоколадного Деда Мороза; на ее щеках были нарисованы ягоды и листья остролиста.

– У нас был праздник, и там висела омела, под ней люди целуются, но мы с Эбигейл не стали целоваться, просто потерлись носами, а можно я съем его сейчас?

Как же мне везло раньше! А ведь сегодня я не то чтобы прямо совсем опоздала. На этот раз ворота были распахнуты настежь, и поток *других-матерей* и *других-детей* препятствовал мне войти. Я стояла на месте, ожидая, пока они пройдут. Чувствовала себя пустой оболочкой. Мне казалось, что если кто-то натолкнется на меня, просто сдуюсь и осяду на землю.

Молли стояла у питьевого фонтанчика вместе с мисс Кинг, которая, увидев меня, подтолкнула ее мне навстречу.

– Ты опоздала, – сказала Молли, подбежав ко мне.

– Разговаривала по телефону, – объяснила я.

Мы пошли на побережье, и она указала на парк развлечений: он был открыт, но пуст, аттракционы замерли, словно скелеты доисторических животных, а в будочках контролеров курили.

– Можно пойти туда? – спросила Молли.

– Нет.

– Почему?

– Потому что сегодня обычный день. А парк развлечений – не для обычных дней.

– А для каких дней?

– Для особенных.

– Как первый день весны?

– Нет. Ничего подобного.

Я снова попыталась помассировать кожу вокруг глаз, но не смогла разогнать боль, скопившуюся в глазницах. Молли пнула камешек, отправив его в траву, и издала нечто среднее между стоном и всхлипом.

– Ты никогда не разрешаешь мне делать ничего веселого, – сказала она.

– Извини, – отозвалась я.

На дорожку впереди нас вышли женщина и маленькая девочка. Девочка была одета в платье с воланами и туфли без задников, хлопающие ее по пяткам на каждом шагу. Прежде чем я смогла остановиться, в голове у меня заработала счетная машинка.

Сегодня холодно. Ей следовало надеть колготки. На Молли надеты колготки. У Молли не мерзнут ноги. Один балл.

Туфли слишком большие и не обеспечивают правильную постановку ноги. Ступни у этой девочки не разовьются правильно. Туфли Молли правильно подобраны для растущей ступни. Так сказала мне женщина в обувном магазине. Два балла.

Платье выбрано неразумно. Девочка не сможет в нем бегать. Она будет беспокоиться о том, чтобы не запачкать его. Ее маме не следует относиться к ней как к кукле. Одежда Молли сшита для повседневных нужд, а не напоказ. Три балла.

Женщина наклонилась и подняла девочку на руки. Та обвила ногами ее талию и опустила голову на плечо.

У нее есть правильная мать. У Молли – нет. Скоро у Молли не будет вообще никакой матери. Минус все баллы. Минус все баллы, которые ты когда-либо заслужила.

Я посмотрела на Молли, скачущую через трещины в бетоне дорожки. От ветра лицо ее раздурманилось, и она стала еще красивее, потому что так меньше похожа на меня. Именно здесь жила лучшая часть Молли – в зазоре между ней и Крисси, в мягких очертаниях губ и ясности глаз. Иногда мне казалось, что где-то существует ребенок-шаблон, светлокожая, темноволосая девочка, а Молли и Крисси призваны продемонстрировать, что бывает, когда эта девочка ест досыта или голодает, моется или зарастает грязью. С тех пор как оказалась в реальном мире, я мылась каждый день и смогла набрать немного мяса на костях, и понимание того, как Молли похожа на меня, приносило мне теплую радость. Эта радость уносила прочь мысли о тех ее генах, что достались не от меня.

Мужчина, который дал мне Молли, был скорее не мужчиной, а мальчишкой, и даже скорее не мальчишкой, а нескладным набором из рук, ног и хвостовства. Его звали Натан; так было написано на бейджике. На моем бейджике было написано «Люси», потому что таково было первое новое имя, которое мне дали после того, как выпустили, первая новая жизнь, в которую я попала. Натан и Люси расставляли товары на полках в хозяйственном магазине, где сотрудница службы надзора Джен нашла мне работу. Джен всегда говорила о том, как хорошо, что я оказалась в реальном мире, потому что жизнь в реальном мире куда лучше, чем жизнь в тюрьме. На собеседовании в хозяйственном магазине перед нами выложили коллекцию шурупов, болтов и дверных ручек и попросили выбрать предмет, который каждому из нас нравится больше всего, чтобы потом «представить» его группе. Люди толпились у стола, пока на нем не остался только пакет гвоздей. Я вдавила острие гвоздя в подушечку пальца, пока ожидала своей очереди, чтобы сказать, насколько я острая и крепкая; при этом я думала о Хэверли. Это была своего рода тюрьма. Но там было не так уж плохо.

Натан любил рассказывать мне, в какую пивнушку он ходил в выходные, с кем он там был и какой футбольный матч они смотрели. Он заикался, но только на словах, начинавшихся с «Т». Местная

пивнушка называлась «Таверна», его любимой футбольной командой был «Тоттенхэм», а всех его друзей, похоже, звали Том или Тони. Одна из кассирш сказала мне, что я ему нравлюсь, и я засмеялась, потому что никому не нравилась. Я не смеялась, когда он пригласил меня выпить. А сказала: «Ладно».

Мы пошли в пивнушку возле вокзала. Не знаю, что я сказала бы ему, если б он спросил о моей жизни до хозяйственного магазина. К счастью, он не спросил. Он, похоже, не интересовался этой частью моей жизни, но все-таки спросил, не хочу ли я пойти с ним к нему домой. Я снова сказала: «Ладно».

Я была одета в рабочую футболку-поло: синюю, с логотипом на груди. Натан стянул ее с меня через голову, не расстегивая пуговицы, отчего у меня зазвенело в ушах. Он носил на шее крестик на серебряной цепочке, и пока все происходило, я считала, сколько раз крестик ударится о мое лицо. Когда сбилась со счета, повернула голову набок и стала читать названия видеокассет, сложенных рядом с телевизором. Я чувствовала сильное давление, как будто Натан пытался пробиться сквозь прочную стену у меня внутри. Думала о том, как страшно оказаться расплющенной под кем-то, кто крупнее и сильнее тебя, когда его тело загораживает тебе свет, выдавливает воздух из груди. Это было отвратительно – чувствовать страх. Я хотела бы, чтобы мне было больше.

– Все хорошо? – спрашивал он снова и снова, нависая надо мной.

– Хорошо, – отвечала я из-под него снова и снова. Я была распластана на полу, его вес вдавливался в меня, мое тело хрустело и ныло, словно трескающаяся корка. Я чувствовала многое, но «хорошо» к этому многому совсем не относилось.

– Ох, – произнесла я, когда боль из тупой стала острой. Натан издал гортанный рык. – Ох, – повторила я, и он снова зарычал. Довольное рычание.

Оно заставило меня думать, будто я нравлюсь ему. Я гадала, как можно понять, что все закончилось, может ли оно продолжаться неопределенно долго, знает ли Натан, когда остановиться, скажет ли

мне, что вот, всё? Спустя долгое время он замер, хрипло выдохнул и выскользнул из меня, и я почувствовала облегчение от того, что окончание, по крайней мере, было четким: жгучая пустота. Мы откатились друг от друга. Я натянула джинсы и прижала колени к груди. Чувствовала себя открытой и липкой, словно рана.

«Ага, – думала я. – Значит, вот как».

В следующие три недели мы делали это еще пять раз. После первого раза мне уже не было больно – осталось лишь чувство растяжения перчатки, наполненной горячим маслом. Натану это нравилось, а мне нравилось чувствовать, что ему нравится. Ведь это почти так же, как если бы ему нравилась я. Я не была уверена, нравится ли мне самой или нет – действие как таковое, запахи, звуки и тяжелая близость, – но это несло покой, ощущение заполненности, и вот такое мне нравилось. Я почти ничего не испытывала к Натану, и он не давал повода думать, будто чувствует что-то особенное ко мне. Мы никогда не говорили о том, что делаем. Пока все происходило, мы смотрели в разные стороны. Иногда мне казалось, что это секрет, который мы пытаемся утаить друг от друга.

Через месяц после первого раза я расставляла на полках банки с краской, когда одна из кассирш похлопала меня по плечу.

– Можешь подменить за кассой на пять минут? – спросила она. – Нужно сбегать в аптеку.

– Хорошо.

– Спасибо, – сказала она и наклонилась поближе. – Утренняя таблетка, знаешь ли.

– Хорошо, – повторила я, неожиданно почувствовав себя совсем нехорошо – меня охватили жар и тошнота.

Вместо обеда я купила тест и зашла в туалет на четвертом этаже: туда никто не ходил, потому что окно не закрывалось, а холодный кран был сломан. На обратной стороне двери был наклеен плакат с рекламой галогеновых лампочек, и я прочла его от начала до конца, пока ждала, спустив до лодыжек джинсы и трусы. Узнала много

нового. Две полоски проявились, словно пальцы в неприличном жесте^[5].

«Ага, – подумала я. – Значит, вот как».

* * *

Пока мы переходили дорогу перед кафе, я придерживала Молли за рукав. В кафе Арун наполнял сосуд для маринованных яиц. Глазные яблоки в мутном коричневом уксусе. Я почувствовала их запах еще с тротуара и ощутила, как тошнота, как паук, запускает мохнатые лапки на корень моего языка. Пока я искала ключ от квартиры, Молли танцевала перед дверью в свете уличных фонарей, пытаюсь привлечь внимание.

– Привет, Арун, – выкрикнула она, когда он не сразу поднял на нее взгляд.

– Здравствуй, мисс Молли, – отозвался он, вытирая руки о свой фартук и делая глоток кока-колы из банки. – Как ты сегодня? Как твоя бедная ручка?

– Нормально. Сколько картошки сегодня продали?

– О, сегодня тяжелый день. Пожарили всего пятнадцать тысяч ломтиков.

– Вчера было двадцать.

– Знаю. А позавчера – двадцать пять. Что же делать?

– Не знаю.

– Сегодня мы даже не продали всю картошку, которую пожарили. Кошмар! Так много осталось! Я вот подумал – не знаком ли я с какой-нибудь голодной девочкой? Но потом подумал: нет, никого не могу вспомнить... совсем никого.

– Она не голодна, – пробормотала я.

Нашла ключ и сунула его в замок, но Молли уже вбежала в кафе. Я слышала скрежет металла по плитке, когда она протискивалась мимо табуреток, стоящих у зеркала.

– Ты знаком со мной, Арун, – заявила она.

– Молли, пожалуйста, пойдем домой, – окликнула я ее.

Но она не вышла, и я повернулась, чтобы взглянуть сквозь дверь кафе. Молли стояла у стойки, прижимаясь лицом к витрине с горячими блюдами и глядя, как Арун ссыпает картофельные ломтики на лист белой бумаги.

– Правда, Арун, не надо, – сказала я. – У нас есть еда. Ей это вовсе не нужно.

– Ничего, ничего, Джулия, – ответил он, потом свернул бумагу в пакетик и протянул его Молли, которая вцепилась в пакет, словно младенец в игрушку.

Наверху она положила его на стол и начала разворачивать бумагу. Я дышала через рот. В кафе запах масла отскакивал от керамической плитки, но в квартире ковры и шторы жадно всасывали жирную вонь. Я открыла окно.

Глядя, как Молли ест, я ощущала глухую зудящую панику. Четыре часа дня. Четыре – не время для ужина. Четыре – время для закусок, подготовки к чтению в половине пятого, подготовки к пятичасовому просмотру «Сигнального флага». Если Молли ужинает в четыре, у нас будет пустой промежуток в пять тридцать – полчаса, которые нечем заполнить. А когда наступит пора ложиться спать, она может снова проголодаться, и я не буду знать, кормить ее или нет, чистить ей зубы снова или нет, сколько нужно ждать от приема пищи до отхода ко сну...

Зазвонил телефон, и я высунула голову в окно. Воздух был прохладный и сладковатый, и я втягивала его сквозь сжатые зубы. Снаружи мужчина пытался попасть в дом рядом с сувенирной лавкой. Он колотил по двери ладонью, толкал плечом. Это было все равно что наблюдать, как кто-то таранит стену куском теста: глупо и изначально безнадежно. Мужчина сполз наземь, попытался глотнуть из стеклянной бутылки, но промахнулся мимо рта. Заплакал. Трели телефона, казалось, звучали громче с каждым звонком – и громче, и

настойчивее, – и я вообразила журналистку на другом конце линии. Я чувствовала запах ее духов, постукивание ногтей по клавиатуре.

– Почему ты открыла окно? – окликнула меня Молли. – Там холодно.

– Просто хочу подышать свежим воздухом, – ответила я.

Телефон перестал звонить, и я нырнула обратно в комнату и прижалась лбом к стеклу. По дороге из школы объяснение утвердилось у меня в голове: врач позвонил Саше, а Саша позвонила в газеты. Я порылась у себя внутри в поисках паники или обиды от такого предательства, но ничего не нашла. Саша, должно быть, получила кучу денег за мой телефонный номер, больше денег, чем получала за год работы. Это ужасно – быть бедной. Я чувствовала только онемение.

– Знаешь, мне очень нужно праздничное платье, – сказала Молли.

– Что? – спросила я.

– Праздничное платье. Для вечеринки у Элис.

Я коснулась своего лба: кожа холодная и губчатая, как у мертвеца. Пошла в ванную и расстелила на полу коврик. Молли продолжила журчать что-то про платье, и ее слова смешивались с журчанием воды в ванне. До меня дошло, что уже неважно, буду ли я содержать Молли в чистоте, потому что содержание в чистоте является частью мероприятий по сохранению ее у себя – а это мне не удастся. Потом дошло, что если я не выкупаю ее, то мне нужно будет чем-то заполнить еще больше неупорядоченного времени перед отходом ко сну. Кран остался включенным. Я пыталась не представлять себе Молли в платье с пышными рукавами и широким поясом. Опустилась на колени перед ванной, положила голову на бортик и следила, как поднимается уровень воды.

Когда Молли росла у меня внутри, я очень много времени проводила в санузле. Меня тошнило так, как никогда прежде; я даже думала, что никогда и никого так не тошнило. По ночам просыпалась от того, что когтистые пальцы сжимали желудок, и ползла в ванную комнату, где прижималась щекой к холодному бортику. Пот был

таким соленым, что мне казалось, будто крупинки соли выступают на коже и скатываются крошечными кристалликами по шее. Тело сотрясали судороги, потом тошнота подступала к горлу, заставляя корчиться над унитазом; она была такой сильной, что казалось, будто вместе с рвотой я извергну ребенка.

С тех пор как меня выпустили, я изо всех сил старалась исчезнуть, но благодаря Молли превратилась в неоновую вывеску. Посторонние женщины улыбались мне, спрашивали, мальчика или девочку жду и когда, спрашивали, не устала ли я, пытались уступить место в автобусе. Я чувствовала себя мошенницей. Если б они только знали, кто я такая, то пинками отправили бы меня под колеса. По мере того как мое тело становилось больше – смехотворно и неоправданно большим и, конечно же, больше, чем у кого-либо до меня, – я все реже и реже выходила из квартиры. Смотрела на чуждую массу, выросшую спереди, и думала: «Пожалуйста, уберите, пожалуйста, уберите, пожалуйста, уберите это от меня». А потом наступала ночь, и я снова оказывалась на полу в ванной. Прижимала ладони к животу, чувствуя сквозь кожу узелки крошечных колен и локтей. И ребенок уже не казался чуждым. Он казался другом. До этого я была ужасно одинокой.

В Хэверли мы сажали семена подсолнуха, и я сказала надзирателям, что мой подсолнух вырастет хилым и уродливым, потому что я – дурное семя, и то семя, которое я посадила, – тоже. Но мой цветок вырос крепким и ярко-желтым. Никогда не знаешь, что вырастет из посаженного тобою семени. Именно об этом я думала, когда по ночам стояла на коленях в санузле: о ярких мягких лепестках. Дети растут из семян, говорила главная надзирательница. Я стискивала зубы и молилась: «Пожалуйста, оставайся внутри. Пожалуйста, оставайся внутри. Пожалуйста, кто ты ни есть, оставайся внутри меня».

Крисси

Когда Стивен был мертв уже долгое время, большинство мамочек перестали удерживать своих детей дома после школы, потому что становилось теплее, а их уже тошнило от того, что дети все время после школы торчат дома, с ними. Мою маму постоянно тошнило от меня, но теперь она уже не пыталась меня отдать. Обычно ее не было дома, когда я возвращалась из школы или с прогулки, или же она сидела в своей комнате, закрыв дверь и выключив свет. Мы по-прежнему ходили в церковь каждое воскресенье. Мама всегда любила Бога, даже когда не любила меня. Мы приходили позже и уходили раньше, потому что мама не любила других людей, а если прийти попозже и уйти пораньше, люди едва замечали наше присутствие. Церковь была единственным местом, где мама была по-настоящему счастлива – когда она пела гимны «Господь танца», «Утро засияло», «Хлеб небесный», закрыв глаза и обратив лицо к небу. Ее пение не соответствовало остальной ей. Оно было высоким и красивым. Мне нравилось в церкви, потому что иногда можно было стянуть несколько монет с тарелочек для пожертвований, а еще мне нравилось, как викарий касался моей головы, когда я выходила вперед за благословением.

Когда мы возвращались домой, мама обычно опускалась на коврик у двери и сворачивалась в комок. Я пыталась заставить ее пойти в гостиную, но она не двигалась, а поднять ее мне было не под силу. В итоге я обычно ложилась рядом с ней в прихожей, брала в пальцы прядь ее волос и водила ими вокруг своих губ – словно перышком. Я не знала, почему она так горюет после церкви, но думала: возможно, потому, что знает – целую неделю не придется больше петь гимны.

Единственной, кто по-прежнему не выходил играть с остальными, была Сьюзен. Она даже не ходила в школу. Я видела ее только по вечерам, когда она стояла у окна своей комнаты, приложив ладони к

стеклу. Я не знала, видит ли она меня. Когда она не ходила в школу вот уже две недели, я подошла во время перемены к одной девочке из шестого класса и спросила, где Сьюзен.

– Сьюзен? – переспросила она. – Ты имеешь в виду ту, у которой умер брат?

– Да, – ответила я.

– Не знаю. Наверное, дома.

А потом она убежала, потому что девочкам из шестого не положено разговаривать с девочками из четвертого. Я вертела в голове ее слова: «Сьюзен, у которой умер брат». Потому что раньше она всегда была «Сьюзен с такими длинными волосами».

Бетти тоже не ходила в школу, но у нее была свинка, а не мертвый брат. Мисс Уайт сказала, что если кому-то из нас покажется, что у него тоже свинка, мы должны сразу же сказать ей. Я говорила ей это каждый день, много раз, но она только отвечала:

– Перестань говорить глупости и выполняй задание, Крисси.

Во время большой перемены я пробралась обратно в класс и переломала все цветные карандаши в коробке. Крак-крак-крак. Дрянь-мисс-Уайт.

Во вторник мы с Линдой пошли после школы собирать бутылки. Многие люди выкидывают стеклянные бутылки в мусор, будто те ничего не стоят, но мы доставали их и обменивали на сладости. Иногда на дне бутылок оставались темные капли кока-колы, и я вытряхивала их себе на язык. Линда говорила, что это отвратительно. У плохих капель кока-колы был горький, противный вкус, но если попадалась хорошая, то как сахарный сироп. Это стоило риска.

В понедельник мы взяли с собой Линдиных кузенов, но они совсем не помогали нам в сборе бутылок. Просто глупые маленькие мальчики. Это был неудачный день, потому что мусорные баки были только что опустошены, и ни у кого еще не было времени выпить достаточно кока-колы. Я всегда спрашивала мисс Уайт, можно ли мне забирать от школы ящики с пустыми молочными бутылками, но она

всегда говорила «нет» – типично для мисс Уайт. Если б я могла забирать эти молочные бутылки, то, наверное, к девяти годам уже была бы миллионершей. Я нашла в канаве две лимонадные бутылки, но одна из них была расколота. Все равно забрала ее. Линда нашла только одну, а мальчики ничего не искали, просто изображали звук пожарной сирены.

– Не везет, – сказала Линда, когда мы пошли к магазину. – Мы никогда не находили так мало бутылок.

– Ну, я не виновата, – отозвалась я.

– А кто виноват?

– Не знаю. Наверное, премьер-министр.

– А почему он в этом виноват?

– Линда, он во всем виноват.

Иногда это утомительно – такая тупая подруга.

Когда мы пришли в магазин, миссис Банти сказала, что даст нам только четверть фунта сладостей, хотя мы заслужили намного больше, – но это типично для миссис Банти. Злая она, злая, злая. Когда взвешивала сладости, бросала их по одной в серебряную чашу весов, пока стрелка не указывала точно на нужную цифру, потом туго завинчивала крышку на банке. Когда больное колено миссис Банти начинало болеть еще сильнее, в магазине работала миссис Харольд, и каждому было ясно, что она вовсе не злая. Потому что она насыпала конфеты в чашу так, что стрелка заходила за нужную цифру, и тогда миссис Харольд говорила:

– А, ладно, пара лишних конфет ребенку не повредит.

Миссис Банти никогда так не делала. Злая, злая, злая, злая!

Мы с Линдой долго не могли договориться, какие сладости хотим. В конце концов взяли лакричное ассорти, потому что его хотела я, которая нашла две бутылки (в том числе и одну разбитую, хотя миссис Банти не приняла ее). Вдобавок мы почти всегда в конечном итоге делали то, чего хотела я. Миссис Банти взвесила ассорти и ссыпала в белый бумажный пакет.

– Там же почти ничего нет, – сказала я, когда она загибала верхний край пакета.

– Ты можешь быть благодарна и за это, Крисси Бэнкс, или можешь не получить ничего, – ответила она. – Честное слово, детишки, вы не знаете, как вам повезло родиться сейчас! Знаете ли, жизнь не всегда была такой легкой. Когда я была маленькой, шла война.

– Тьфу, – отозвалась я. – Почему все всегда только и говорят, что об этой дурацкой древней войне?

После магазина мы пошли на игровую площадку. Мы с Линдой сели на карусель, а мальчики бегали вокруг. Каждые несколько минут они подбегали ко мне и протягивали руки, выпрашивая сладости, и я раскусывала одну конфету пополам и отдавала каждому по половинке. Они маленькие, значит, им нужно меньше сладкого.

Я лежала на спине, когда Линда толкнула меня в плечо и прошептала:

– Смотри!

Она указала на ворота. Я села и увидела, что мамочка Стивена открывает их. Сначала мне показалось, что она выглядит совершенно обычно, потому что была одета в нормальное платье и кофту, но потом я заметила, что ноги у нее босые. Она не смотрела на нас, она смотрела на мальчиков. Те прекратили бегать и попытались вскарабкаться на брусья. Она как-то сонно улыбнулась и пошла к ним. Подойдя ближе, опустилась на колени и раскинула руки в стороны.

– Иди ко мне, Стиви, – услышали мы. – Я знала, что найду тебя.

Мальчики с криками побежали прочь, и мы побежали тоже – с игровой площадки на улицу. Прежде чем свернули за угол, я оглянулась через плечо. Мамочка Стивена сидела на земле под брусьями. Она издавала тот же самый звук, который издала, когда мужчина вынес Стивена из синего дома, – крик лисы, занозившей лапу. Я поискала у себя внутри то же шипучее ощущение, но его не

было. Воспоминание причиняло тупую, скручивающую боль, как будто кто-то с вывертом ущипнул меня изнутри.

– Сошла с ума, – сказала Линда, когда я догнала ее. Она оглядывалась назад, чтобы проверить, не гонится ли за нами мамочка Стивена, но я знала, что та не станет этого делать. – Как думаешь, кто убил Стивена? – спросила Линда.

– Не знаю, – ответила я. – Да и какая разница? Он скоро вернется. Как мой папа.

– Твой папа не возвращался сто лет.

– Не сто.

– Не думаю, что Стивен вернется. Дедушка так и не вернулся.

Мне не хотелось объяснять Линде, что люди могут умирать и возвращаться, поэтому я сунула в рот остаток лакричного ассорти, чтобы склеить челюсти и не разговаривать. Линда толкнула меня.

– Фу, какая ты свинья! – сказала она. Коричневая слюна стекала у меня по подбородку.

Когда Линда ушла к себе домой, я выплюнула конфеты в канаву. Потом провела языком во рту, проверяя, не выплюнула ли я заодно и гнилой зуб, но он был на месте и шатался в десне.

* * *

В среду я даже забыла о попытках уйти из школы, притворяясь больной, потому что к нам в школу снова пришла полиция, и на этот раз они разговаривали со всеми классами, а не только с малышами. Я видела их через стеклянную дверь: сплошные начищенные ботинки и сверкающие пуговицы. В животе у меня возникло такое ощущение, как от натянувшейся резинки или от горсти шипучего порошка, высыпанного в стакан с кока-колой. Мисс Уайт впустила их в класс и сказала, что все мы должны слушать очень внимательно, поэтому я развернулась так, чтобы смотреть на них. Ричард пнул меня, и я стукнула его по голой ноге. Мисс Уайт велела нам утихнуть

и перестать озорничать; один из полицейских посмотрел на меня и улыбнулся половиной рта. Упаковка надорвалась. Порошок зашипел в стакане. Я снова почувствовала себя богом.

Полицейский сказал все то же самое, что говорил мистер Майклс сразу после того, как Стивен умер: что мы, возможно, слышали об очень прискорбном случае с маленьким мальчиком, который жил на одной из наших улиц, и что мы не должны больше ходить играть в переулок, и что кто-то из нас мог знать того маленького мальчика, и что если кто-то видел его в тот день, когда он умер, мы должны прийти к полиции и рассказать об этом. Я подняла руку сразу же, как он закончил говорить, и мисс Уайт сказала:

– Крисси, полицейские очень заняты, им еще нужно поговорить с пятым и шестым классами, у них нет времени на твои глупости.

– Я видела его, – заявила я, глядя ей прямо в глаза.

– Видела? – переспросила она, глядя мне прямо в глаза.

– Да.

– Видела его в тот день? – спросил один из полицейских.

– Да, – ответила я.

– Что ж, – сказал он. – Будь добра, девочка, подойди сюда.

Я встала и прошла в переднюю часть класса, ощущая, как все смотрят мне в спину, и от этого во мне бурлила сила. Полицейский положил руку мне на плечо, и мы отошли в библиотечный уголок и сели на стулья. Я слышала на заднем плане перешептывания, и как мисс Уайт говорит всем достать тетради и закончить классное задание, но гораздо громче я слышала шипение, бурление и звук лопающихся пузырьков. Когда мамочка Стивена пришла на игровую площадку, я испугалась, что это шипучее ощущение исчезло навсегда, потому что внутри у меня было так холодно и тихо, – но теперь оно вернулось, и даже пуще, чем раньше. Никто не заканчивал свое задание, все смотрели на меня.

– Как тебя зовут, девочка? – спросил один из полицейских, когда мы сели. Оба они были слишком большими для маленьких стульчиков в библиотечном уголке и свешивались за края.

– Крисси Бэнкс, – ответила я. Второй полицейский записал это в блокнот.

– Будем знакомы, Крисси. Я – ПК Скотт, а это ПК Вудс, – сказал полицейский. – Значит, ты считаешь, что видела Стивена в день его смерти?

– Что значит «ПК»? спросила я. – «Полицейский коп»?

– Почти, – ответил он. – Полицейский констебль. Ты считаешь, что видела Стивена, так?

– Я знаю, что видела, – сказала я и осознала, что в голове у меня совершенно пусто, там нет ничего, что можно говорить дальше.

Полицейские внимательно смотрели на меня, и я понимала, что они хотят, чтобы я продолжала, но я просто пристально смотрела на них в ответ.

– Ты можешь рассказать нам побольше об этом? – спросил ПК Скотт.

– Я видела его утром, – сказала я.

– Хорошо, – отозвался он, и ПК Вудс записал еще что-то в своем блокноте. Я решила, что, наверное, «она видела его утром».

– Где видела? – спросил ПК Скотт.

– Возле магазина.

– Возле магазина в конце Мэдли-стрит? – уточнил он. – У новостного киоска?

– Не знаю, продаются ли там новости, – сказала я. – Мы просто ходим туда за конфетами.

Он изогнул уголки губ, как делают люди, когда пытаются не засмеяться.

– Ясно. С ним кто-нибудь был?

Они снова ждали, что я продолжу, но я опять молчала, потому что не знала, что мне сказать дальше.

– С кем он был? – спросил ПК Скотт.

– Со своим папой, – сказала я.

То, как они посмотрели друг на друга и подняли брови, заставило меня думать, что это очень умный ответ.

- В какое время это было? – спросил ПК Скотт.
- Не знаю.
- Хотя бы примерно? Ранним утром, поздним утром...
- Днем.
- Днем? Ты уверена? Ты говорила, что это было утром.
- Нет, на самом деле, мне кажется, не утром. Кажется, днем, почти перед самым обедом.

Они снова переглянулись, и ПК Вудс записал что-то в уголке страницы своего блокнота и показал его ПК Скотту. Они выглядели такими неуклюжими на маленьких стульчиках в библиотечном уголке. Мне казалось, что это мои личные куклы в человеческий рост.

- Крисси, в какой день ты видела Стивена? – спросил ПК Скотт.
- В день его смерти.
- Да, но какой день это был? Ты помнишь?
- Воскресенье.
- Ага... Ты уверена, что это было воскресенье?
- Да. Я не была в школе, а утром была церковь.
- Ага, – повторил он. Воздух вышел из него, словно из сдутого мяча. Я знала, почему.

Стивен умер в субботу, а не в воскресенье. Никто не видел его в воскресенье, потому что к воскресенью его уже зарыли в землю. Я заставила полицейских вести все эти расспросы и записи из-за ничего и так и не выдала им самую большую свою тайну. Самую большую тайну, которая заключалась в том, что этой самой большой тайной была я сама. Я чувствовала себя богом еще сильнее, чем прежде.

- Что ж, спасибо тебе большое за помощь, – сказал ПК Скотт.
- Большое вам пожалуйста, – ответила я.

Он встал, и ПК Вудс последовал его примеру. Я не знала, был ли ПК Вудс вообще настоящим полицейским. Он больше напоминал секретаря.

– Вы собираетесь поймать человека, который его убил? – спросила я. ПК Скотт закашлялся и обвел взглядом других детей, которые все смотрели на него.

– Мы собираемся узнать, что именно произошло, – громко произнес он. – Не волнуйся.

– А я и не волнуюсь, – ответила я и пошла обратно на свое место.

Ричард ткнул меня в руку карандашом.

– О чем вы говорили? – прошептал он.

Я смотрела, как полицейские разговаривают с мисс Уайт. Я не слышала, что они говорят, но видела, как ПК Вудс выбросил листок, на котором делал заметки, в мусорную корзину возле учительского стола.

– Ш-ш-ш, – сказала я.

Ричард балансировал на двух боковых ножках своего стула, прижимаясь плечом к моему плечу, так что наши щеки почти соприкасались. Он чихнул три раза подряд и сказал:

– От тебя пахнет мочой.

Я резко отодвинула свой стул от стола, так что Ричард рухнул ко мне на колени, и прежде чем он успел выпрямиться, с силой ударила его кулаком по уху, словно мой кулак был молотком, а его голова – шляпкой гвоздя. Я держала в кулаке карандаш, и его кончик вошел в ухо Ричарда. Тот завыл. Мисс Уайт с пристыженным видом попрощалась с полицейскими, а полицейские попрощались с мисс Уайт, и вид у них был такой, как будто они очень рады тому, что они мужчины, а не женщины, поскольку могут быть полицейскими, а не учителями. Когда мисс Уайт подошла к нам, Ричард рыдал так сильно, что не мог сказать, что произошло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

INSPIRIA

ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ

ВЕЧНЫ

НЭНСИ

ТАКЕР

 INSPIRIA

Примечания

1

Здесь: галерея с игровыми автоматами.

[Вернуться](#)

2

Своего рода прятки наоборот: изначально один человек прячется, а все остальные его ищут, и нашедший должен найти способ спрятаться вместе с найденным в том же месте (таким образом участники игры постепенно набиваются в это место подобно консервированным рыбинам).

[Вернуться](#)

3

Angel Delight (*англ.*) – порошкообразный продукт, выпускающийся в Великобритании; предназначен для взбивания с молоком и получения десерта, похожего на мусс.

[Вернуться](#)

4

Marble run (*англ.*) – игра-конструктор для построения лабиринта трасс, по которым катятся шарики.

[Вернуться](#)

5

В Британском содружестве наций (за исключением Канады) два пальца, выставленные буквой «V» подушечками к себе, означают фактически то же самое, что «фак», выставленный средний палец.

[Вернуться](#)